

Свет двуединый

*Евреи и Россия
в современной поэзии*

Свет двуединый

*Евреи и Россия
в современной поэзии*



Свет двуединый



Х.Г.С.

Памяти Михаила Агурского



*Поэтическая
библиотека*

СЕРИЯ
ОСНОВАНА В 1993 ГОДУ

Свет двуединый

*Евреи и Россия
в современной поэзии*

*Составитель
Михаил Грозовский*

*Под редакцией
Евгения Витковского*

Москва
Издательство АО «Х.Г.С.»
1996

ББК 84Р7-5
С24

Художник серии
Константин Журавлев

На суперобложке использована
репродукция картины художника
Бернара Кесньо

На наклейках — эмали
Кирилла Шейкмана

Свет двуединый: Евреи и Россия в современной поэзии/
С24 Составление М.Грозовского/Под редакцией Е.Витковского. —
М.: Издательство АО «Х.Г.С.», 1996. — 520 с., ил.
(Поэтическая библиотека.)

ISBN 5—7588—0400—2

© М.Грозовский. Составление, 1996.

© К.Шейкман. Иллюстрации, 1996.

© Издательство АО «Х.Г.С.», 1996

...О двух народах сон, о двух изгоях,
Печатью мессианства в свой черед
Отмеченных историей, из коих
Клейма ни тот ни этот не сотрет.
Они всегда, как в зеркале, друг в друге
Отражены. И друг от друга прочь
Бегут. И возвращаются в испуге,
Которого не в силах превозмочь.
Единые и в святости, и в свинстве
Не могут друг без друга там и тут
И в непреодолимом двуединстве
Друг друга прославляют и клянут.

Александр Межиров

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Идея создания этой книги в сознании и душе вызревала давно, а воплотиться смогла лишь в последние годы, когда еврейский вопрос (а точнее, еврейско-русский), прежде как бы несуществовавший, получил в России легальное освещение, чему в огромной степени способствовали резкие перемены, произошедшие в стране и, как следствие, во всем мире.

23 января 1991 года «Еврейская газета», выходящая с недавнего времени в Москве, поместила статью Адина Штайнзальца, которая называлась «Евреи России — сердце еврейского народа». Выдающийся израильский религиозный просветитель, размышляя о влиянии еврейских идей на русский народ, в частности, отметил, что это влияние возникло из-за определенной мировоззренческой близости культуры русского народа к еврейству.

Тому доказательством может послужить предлагаемая книга. В нее вошли стихи, написанные в основном за четыре последних десятилетия авторами еврейского и нееврейского происхождения разных поколений, школ, умонастроений, как жившими или живущими в России (шире — в бывшем Советском Союзе), так волею судеб в разное время и по разным причинам ее покинувшими и выбравшими местом проживания Израиль либо другие страны, для краткости названные Зарубежьем.

Сознавая условность такого деления, составитель, тем не менее, нашел его интересным; хотелось дать почувствовать и сопоставить возможно большее число обертонов, звучащих в раскрытии острейшей и сложнейшей темы двуединства, которая, разумеется, не исчерпывается данной книгой. Взятый период объясняется тем, что начиная примерно с 1956 года Россия постепенно стала освобождаться из-под гнета тоталитарной идеологии, что отразилось в художественном сознании поэтов разных возрастов.

Через отношение авторов к России, которая была и для большинства, несомненно, остается средоточием духовных интересов, через талантливое русское слово читатель может ощутить глубокую связь культур двух народов, о чем пронизательно сказал в своей статье Адин Штайнзальц. Приметы родства через душу, через судьбу просвечивают в самих стихотворениях. Отсюда название книги: «Свет двуединый». В некоторых случаях этот «свет» рассеян, нефокусирован и обнаруживает свой тон в контексте авторской подборки.

Составитель от всей души благодарит профессора кафедры славистики Иерусалимского университета Дмитрия Сегала, а также сотрудников библиотеки этого университета Майю Улановскую и Алексея Грозовского за помощь и внимание, оказанные на протяжении всей работы по сбору материалов в Израиле.

Особая признательность — писателю Евгению Витковскому за предоставленные из личного архива стихи, безусловно обогатившие книгу, и за поддержку в работе на самой напряженной завершающей ее стадии в Москве.

Москва – Иерусалим 1992–1996

Михаил Грозовский

ВОТ КАКАЯ СТРАННАЯ ЭПОХА

Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу;
по истине и миролюбиво судите у ворот ваших.

Захария, 8, 16

Побудем секунду в бредовом мире, почитаем анкеты бредового мира:

Отец — еврей, мать — еврейка. Сын — русский поэт.

Отец — еврей, мать — немка. Сын — русский композитор.

Отец — поляк, мать — еврейка. Сын — русский поэт.

Отец — еврей, мать — гречанка. Сын — русский поэт.

Отец — еврей, мать — еврейка. Сын — русский священник.

И так далее.

Это не бред испорченного компьютера и даже не верлибр малоостроумного поэта-концептуалиста. Это российская реальность ХХ века, от которой никуда не деться. Каждый впишет в конце такой строки первое пришедшее на ум имя, подумает, зачеркнет, впишет другое, третье. В первой строке вовсе не обязательно писать «Осип Мандельштам», в пятой совсем не факт, что имеется в виду отец Александра Мень. Кого, к примеру, вписать в третьей строке: Владислава Ходасевича? Владимира Британишского? Лучше бы всего оставить этот список в первоначальном, алгебраическом виде. Человек в значительной мере сам волен решать — кто он. Если посчитать, сколько предков было у каждого из нас восемьсот лет назад, выходит что-то около миллиона двухсот тысяч. Отступим в прошлое еще на условные тридцать лет — окажется вдвое больше. Выходит, что каждый, кто оставил после себя потомство тысячу лет назад, растворен в каждом ныне живущем.

Некогда евреи прощались с приютившей их мавританской Испанией. Уезжали в Германию, к примеру. Оттуда — отчасти после чумы 1348 года, в которой их обвиняли, то ли по приглашению польского короля Казимира Великого — ехали искать лучшей жизни в Польшу. Во времена разделов Польши — хлынули в Южную Россию, даже в Сибирь. В ХХ веке круг замкнулся: евреи поехали туда, откуда некогда были изгнаны — в почти голую пустыню, ныне именуемую государством Израиль. Придавать ли этому факту религиозное значение — дело религии. Дело воспитания. Только не рвите глотки друг другу, ибо — ибо мне нечего прибавить к словам, вынесенным в эпиграф.

Во второй половине XX века перед евреем вдруг встал вопрос: что он России и что ему Россия. Всю возможную палитру взглядов на этот вопрос читатель найдет под обложкой антологии «Свет двуединый», объединившей произведения почти сотни авторов. Каждый из разделов (а их три: Россия, Израиль, Зарубежье) составлен (за редкими исключениями) по возрастному принципу — от старейшего автора к самому молодому.

Возможно, это наведет читателя на мысль сравнить стихи поэтов разного возраста, подумать о временах, в которых формировались их взгляды. Остановлюсь на двух самых крайних точках: в одном случае еврей не просто отказывается от своего еврейства — он заявляет, что иной родины, кроме России, у него нет:

*Не кровь отцов, не желчь безвестных дедов,
Перефрaviaвших камни через Нил,
Сильны во мне. Иной воды изведав,
Я каплю Волги в сердце сохранил.*

*И русским хлебом вскормленный сыздетства,
С младых ногтей в себя его вобрав,
Я принял выморочное наследство
Кольцовских нив и Пушкинских дубрав.*

Впрочем, дальше можно не цитировать: этим стихотворением Аркадия Штейнберга открывается «Свет двуединый».

И на другой стороне спектра — творчество израильского десантника Александра Алона, девятнадцати лет покинувшего Россию, прекрасно выучившего иврит, которому для полной утраты связи с Россией оставалось лишь перестать писать по-русски. Свою позицию он и разъяснил не в стихах, а в прозе, так что цитата необходима: «Наше будущее в русской литературе? Конечно, оно возможно. И лестно, если что-либо из нами созданного этого будущего удостоится. Но — при всей нашей любви к русской литературе — не ей мы хотели служить, не ей посвятили жизнь, не ради нее взвалили на плечи это бремя добровольного долга, бессонных поисков, горьких неудач...».

Саша Алон до приезда в Израиль носил фамилию Дубовой. Его предки в Германии, наверное, были Эйхенбаумами, а до того, в Испании (по российским меркам — при царе Горохе) — вероятно, именовались «Карвальо»: все это перевод одного и того же слова «дуб» с испанского на немецкий, на русский, на иврит. До самой своей трагически-

бессмысленной гибели в Нью-Йорке тридцати двух лет от роду Саша Алон не осознавал, что корней из России вырвать он не смог. Будь ты хоть сто раз гражданином действительно ставшего тебе второй родиной Израиля — никогда не отбросишь ты первую родину, Россию, покуда пишешь и говоришь по-русски. Только перестав осознавать себя в русском языке, получишь ты право забыть Россию. Тогда и Россия тебя забудет, и не будет в этом расставании горечи.

«Уезжать-не-уезжать»: почти вся так называемая третья волна советской эмиграции 1971-1982 годов шла так или иначе или в Израиль, или с помощью Израиля. И снова: отец — еврей, мать — армянка. Сын — русский писатель Сергей Донатович Довлатов. Чем не символ поколения? А про тех, кто уехал (и едет сейчас) в последние годы, говорить вовсе нечего: в «Свете двуедином» есть по крайней мере один поэт, всерьез и навсегда уехавший в Израиль, а теперь всерьез и навсегда вернувшийся в Россию. Навсегда ли? Нет ничего более временного, чем постоянное (и наоборот), и при работе мне все время лезли в голову строчки Довида Кнута: «Уехали решившие остаться, /Вернулись — кто уехал навсегда...»

Поэтому самое хрупкое и условное в «Свете двуедином» — это деление на три части. Помещаем поэта в первый раздел, потом думаем: он давно в США! Переставляем в третий. А червь сомнения не оставлял. Ведь написал-то он «это все» еще в СССР! Была даже мысль поделить некоторых поэтов на два раздела. Стали делить. Обнаружили, что многие поэты попадут во все три! И бросили. Оставили на авось. Очень — кстати — русское занятие. А ты бы, дорогой читатель, что сделал? Предлагаю всем несогласным составить другую антологию — собственную.

Таких антологий — посвященных теме «еврейско-русского воздуха» — уже несколько. Из последних лет вспоминается «Менора», составленная А.А.Колгановой. Отдельным публикациям счет пошел на тысячи. Тем более, что «в тему» попадают русские поэты без единого еврейского эпитета, уж не говоря о тех, кто, по ставшим крылатыми словами Вероники Долиной, «полукровки, четвертькровки».

То ли Россия прощается с евреями, то ли евреи с Россией. Но свет прощания (или прощения?) все равно двуединый. Не надо удивляться тому, что многих знаменитых в русской поэзии евреев в этой книге нет вовсе. Их волновало что-то другое.

Здесь только те, кто и зван, и избран. Те, кто заговорил.

Евгений Витковский

РОССИЯ

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

Не кровь отцов, не желчь безвестных дедов,
Переправлявших камни через Нил,
Сильны во мне. Иной воды изведав,
Я каплю Волги в жилах сохранил.

И русским хлебом вскормленный сыздетства,
С младых ногтей в себя его вобрав,
Я принял выморочное наследство
Кольцовских нив и Пушкинских дубрав.

И с той поры, как я сознал впервые,
Что здешний мир мне до конца знаком,
Листва лесная, травы полевые
Моим заговорили языком.

Приемышу иной не надо чести,
Пусть пропадет незавершенный труд
И на губах с последним вздохом вместе
Славянские глаголы отомрут,

Пускай мой след в сыром песке поречий
Размоют равнодушные года,
Исав-лохмач, на огонек забредший,
Уйдет молчком неведомо куда...

Но в каждом слове горьком, в песне вольной,
В печали отгорающего дня,
В прохладном шуме рощи многоствольной
Узнают люди добрые меня.

Они узнают в тысяче обличий,
На каждом повороте бытия,
Мою любовь, настырный щебет птичий,
Костер в степи – все это буду я.

Я стану жить в лесах родного края,
Где по ночам зарю ведет заря,
Где слушает охотник, обмирая,
Невыразимый бормот глухаря,

Я стану жить везде, где дрогнет слово,
Хотя бы раз промолвленное мной,
Я оживу в терпенье рыболова,
Молчащего над синевой речной;

Встречая ливень на пороге дома,
Досужий мальчик повторит мой стих,
И отзовется перекатом грома
Вспоминанье выстрелов моих.

МОИСЕЙ ЦЕТЛИН

ГЛУШЬ

Блажен, кто среди разбитых урн,
На невозделанной куртине,
Прославит твой полет, Сатурн,
Сквозь многозвездные пустыни.

Владислав Ходасевич. 1912

Прошлым годом меня судьба
Случайно занесла в олонецкую глушь.
Я шел по улице Рочдельских пионеров.
За ней тянулась улица Лассала.
На площадь выйдя Розы Люксембург,
Увидел бюст ее на городском бульваре,
Перед артелью швейной.
Потрескавшийся весь и потемневший
За полстолетия.
Горбинка на носу, открытый взор
Напомнили забытый образ Розы.
Я вспомнил мрамор чопорных вельмож,
Безносых и безглазых,
В опустевших
Дворянских парках, в золоте листья
Иль под дождем осенним.
Вспомнил юность —
Наивную восторженность и план
Монументальной пропаганды.
Подумал о Фурье и Кампанелле,
И о Сатурне тоже.
Мне стало тяжело дышать.
Вихляющей походкой
Юнец ко мне какой-то подошел,
С копной слежавшихся волос до плеч,

С тупым и наглым взором
Рыжих глаз.
Мне захотелось пнуть его ногой.
Я повернул
К разбитому ларьку,
Понурых двух увидев инвалидов.
Бутылку взяли на троих.
Я долго, пьяный,
Плакал перед Розой,
Прося простить меня,
За что — и сам не знаю.
Какая-то швея
Меня к себе с бульвара увела.
Очнувшись на скамье
Холодной зарей,
Не смея глаз поднять,
Побрел, сутулясь. К станции глухой.

НЕНАСТЬЕ. СУЗДАЛЬ

Доносит ночь рыдание глухое.
Соломония плачет о судьбе.
— Не Хельга я, варяжская княгиня.
Не горлица, но и не леди Макбет.
Я русская до самых до глубин.
Боярыня Сабурова в царицах.
Я инокиня ныне и жена
Отвергнутая... Постриг... Монастырь...

Но я еще вернусь в легенде к вам
Народной, девки в джинсах неопрятных,
И не смоковницей бесплодную, о нет,
А матерью разбойника лихого —
Возмездием за попанную честь!

Мотель на пойме Каменки. Поток
Стремится к древней Кидекше и Нерли.
К двенадцатому веку. Дождь. Гроза.
И Суздальская Русь над берегом встает
Буддийским сном и утром православья.

ДИАЛОГ О ЧУГУНКЕ

Под бледной питерскою твердью
Неистовый стоял Виссарион
У здания вокзала, что, в леса
Одетый, словно храм вздымался
И чем-то походил на муравейник.
Писатель Достоевский подошел.
Скуласт. Сократа лоб. Глаза Исаяи.
Был любопытен краткий диалог.
— Железная дорога для России, —
Сказал Белинский, — непременно будет
Днем завтрашним для русских всех людей.
Она Москву и Петербург полезно
Живою нитью свяжет рельс стальных,
Хотя и кровью, как всегда большою,
Заплатит за нее народ российский. —
Закашлявшись, умолкнул тяжело.
— Меня пленил, — заметил литератор,
Кивнув на стройку, — самый труд, скорей
Его скульптурный образ многоликий —
Чувств человеческих прекрасное биенье.
Искусство для искусства мне всегда
Единственную целью представлялось,
И я его, как Гегель, признаю
Значительней полезности бесспорной.
Как живописны эти мужики,
Ползущие по переходам зыбким

Имеющего быть сооруженья!
Подобно фараоновым рабам
Согбенные под ношею кирпичной,
Они — что лики дантовского ада. —
Нахмурился и отвернулся критик.
Дождь моросил. Тянулся катафалк.
На Невском зажигали фонари,
И было смутно на душе и в небе.
Чахотка злая и эпилепсия.
Два круга ада. Два. Одна Россия.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ

Если бы я был бухарским евреем,
Не читал бы я Михаила Кузмина
«Песен Александрийских»,
Я бы в рост золотые давал,
Знал бы в жемчуге толк,
О Сионе вздыхал.
Вспоминал, сколько лет Бухаре,
Что не старше Иерусалима.

РЕЗИНЬЯЦИЯ

Дети бизнесменов в Штатах
подметали мостовые,
мыли окна на тридцатом
этаже и ... ничего.
На Москве синхронно Эдик,
чадо милое завбазы,
час насиловал девчонку
и... обратно, ничего.
Вел сына алкаш за ручку
на Ленгоры, где пристало

двигать физику, конечно,
Эдуарду. Гордо босс
ветчину от Микояна
и дары из «Океана»
в оттопыренных карманах
в ректорат победно нес.
Шли дебилы по столице
в университет московский, —
Джэки, Греты и Адольфы
с вилл и баз, со всех сторон.
И глядел на их движенье
восхищенно и печально,
в генах Эдисон, возможно,
мальчик Изя Шнеерсон,
не попавший на седьмое
небо, Изя Шнеерсон.

ЮЛИЯ НЕЙМАН

РОССИИ

Да не ты ли руками чистыми
Нас поила водой живой?!
Вместе с Пушкиным, с декабристами
Он по смерть во мне – голос твой...

Пусть по паспорту – инородка я,
Не твоя ли во мне печаль?
Не в тебя ли я – сердцем кроткая,
И гневливая не в тебя ль?!

Одного мы бога и дьявола.
Это помню. Этим горжусь!
Сколько б сору вокруг ни плавало,
Ты ни в чем не повинна, Русь!

Разве что вполсилы
И не наяву
На земле постылой
Я полуживу.

Гнев и горечь прячу.
Словно про запас...
...Буду жить иначе,
В следующий раз!

СТАРИК

Из военных стихов

Глаза — глубоко, а душа — на ладони...
Сединами пышно повит...
Вошел он, и стало светлее в вагоне
И люди — добрее на вид.

И речь заструилась приятно и слабо:
Как есть ветерок по меже...
— Да, мы с Беларуси. А к дочке — в Челябину...
С войны не видались уже.

Как вспомнишь то время — разлуки да слезы...
Пришла на Полесье беда...
Мы сами с еврейского были колхозу...
Чему удивились?.. Ну да...

Я ладил им сбрую... Ну, жили богато,
Всего получали с земли...
Какие у них подрастали девчата!
Какие парнишки росли!..

Да Гитлер нагрязнул нежданно-незванно...
Ну, только война занялась, —
Сыны мои — в армию. Зять — в партизаны.
А дочь поначалу у нас...

Да где там!.. Как фрицы пришли до порогу,
Смотреть, говорит, не могу!
Сбирай, говорит, меня, тату, в дорогу...
А наши — на том берегу...

Несется навстречу березам и кленам,
Овраг по пути пробежит...
Должно быть, в таком же овраге зеленом
Бедовая Лия лежит...

И небо над ней – опрокинутой чашей,
А вокруг, муравой шевеля,
Раскинулась горькая родина наша –
Мать-мачеха наша – земля.

УМИРАЕТ ЭПОХА

Умирает эпоха, в которой родились и жили мы.
Та, в которую, ссорясь, мы все ж неприметно вросли
Всею памятью сердца, сплелись невразрыв сухожильями...
Умирает эпоха.
С ней вместе мы сходим с земли.

Умирает эпоха, в которой и мы все же строили
Наши замки воздушные, зная: она сокрушит.
Кем она приходилась нам?.. Мачехой злою? Сестрою ли?
Гарпагонски скупа – иль щедра, как Гарун аль-Рашид?

Умирает эпоха. С мечтами своими, с печальями.
Потихоньку редет друзей и противников стан.
Тех, кого величали мы,
Тех, для кого не звучали мы,
О которых гремел Левитан.

Умирает эпоха. С героями, трусами, всеми
Нами, со всем, что в нас жило, что в ступе толкло.
Умирает эпоха. Поскольку, как водится, время
Истекло.
Нашей жизнью оно истекло.

РУВИМ МОРАН

РАСПЯТИЕ

В сумраке пустынного костела
В золотой барочной мишуре
Он простерся беспорочно-голо
С белою повязкой на бедре.

Дерево, раскрашенное грубо,
Статуям чеканным не чета,
Но с какою мукой сжаты зубы
И раскрыта рана, как уста!

Нет, он не родился в Вифлееме
Под звездой нездешней чистоты —
Про другое, северное племя
Говорят мужицкие черты.

В сыне Божьем все житейски смертно:
Из колоды с пошумавских скал
Рейтаром заколотого смерда
Простодушный мастер изваял.

Что мне жизнь, отжившая когда-то
В Галилее, в чешском ли краю!
Почему же я родного брата
В этой бедной кукле узнаю!

Не прошу для себя ничего,
Ничего не прошу, ничегошеньки –
Ни крупиночки, ни горошинки,
Ни того, ни сего
Для себя самого.

И не то чтоб я сам без греха
И совсем не прельщаюсь соблазнами
Или там искушеньями разными,
Мол, и слава – труха,
И душа к ней глуха.

Но как вспомню свой тягостный гуж:
Салехардскую миску с баландою,
Волгодонскую вышку неладную,
Заполярную глушь,
Да заволжскую сушь,
Да могилы в снегах и песках –

Не хочу ни смиреньем, ни ропотом
Блага брать – пропади они пропадом!
Возле слез, после плах,
Блага – прах, слава – прах...

СКАЗКА РУССКОГО ЛЕСА

Лето 1972

Куда я уйду от зеленого леса,
Уютного леса в краю подмосковном?
Давно уже с глаз моих спала завеса,
И все же, и все же дышу я легко в нем,
Таком дружелюбном, таком безгреховном.

Он дарит мне тень, не сверяясь с анкетой,
И потчует русской калинкой-малинкой;
В нем замкнутость милых полян, а не гетто,
И дуб не спешит обернуться дубинкой.

Но лес в Понырай разве в чем-нибудь грешен!
И разве поляны его безобразны?
А был на крови их суглинок замешен,
И трупы казненных он скрыл безотказно.

Отрадно лесным обмануться покоем,
И мы под прицелом беспечно токуем.
Я счастлив, дыша этим хвойным настоем.
Куда я уйду?
Но уход неминуем.

Зима 1973

Не баюкай бесшумной метелицей,
Я не верю тебе, тишина.
Сны не сбудутся, горе не смеется,
Мне и милость природы страшна.

Жизнь ли, время меня научили
Ниоткуда спасенья не ждать,
Уж не служит ли дьявольской силе
Даже белых снегов благодать?

Сколько ж надо изведать похмелий
И оплакать могил и темниц,
Чтоб извериться в честности елей,
В простодушье сорок и синиц;

Чтоб менялись ветвей очертанья
И грозил перекладиной ствол,
Чтоб понять, что среду обитанья
Отравляют не дым, не фенол?!

И стеною централа зубчатой
Хмурый лес к поднебесью воздет,
А кровавая баня заката –
То ли память о бывшем когда-то,
То ли вестница будущих бед...

«Никто не забыт, и ничто не забыто...»
А те, что в распадках колымских зарыты?

А те, кого вывезли с отчей земли
И в душных теплушках на смерть обрекли?

А тот, кто помянут среди тысяч собратьев,
Но только библейское имя утратив?

О, нет! Не ему возведенobelisk!..
Поди в эпитафиях тех разберись...

Лежит Неизвестный солдат под гранитом
В могиле со шлемом, из бронзы отлитым,

И вечное пламя трепещет над ней,
Но где твой огонь, Неизвестный еврей?

Горят погребальные факелы века.
Но где он, огонь Неизвестного зека?

«Ничто не забыто, никто не забыт».
А кляп в чей-то рот и посмертно забит.

СЕМЕН ЛИПКИН

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе
иль отчаянье воли у вьючных,
так загадочней нет в словаре
однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно, — и ему лишь дано
обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетается оно,
мир с войной и паденье с величьем.

В нем тревоги твои и мои,
в этом И — наш союз и подспорье...
Я узнал: в азиатском заморье
есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
будни детства, надела, двора,
неприятие лжи, и понятие
состраданья, бесстрашья, добра,

и простор, и восторг, и унылость
человеческой нашей семьи, —
все сплотилось и мощно сроднилось
в этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне
приближается мать к алтарю, —
это я, тем сильней и всемирней,
вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет,
и я знаю: сойдет с колеи,
человечество быть не сумеет
без народа по имени И.

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери – из печи.

Еще и жизни не поняв,
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

НИЩИЕ В ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ

Капоры белиц накрахмалены,
Лица у черниц опечалены,
Побрели богомолки.
Помолиться – так нет иконочки,
Удавиться – так нет веревочки,
Только елей иголки.

Отгремели битвы гражданские,
Богатеют избы крестьянские,
Вдоволь всяческой пищи,
Только церковка заколочена,
Будто Русь — не Господня вотчина,
А чужое жилище.

Зеленеют елей игопочки,
Побираются богомолочки,
Где дадут, где прогонят,
И стареют белицы смолоду,
Умирают черницы с голоду, —
Сестры в поле хоронят.

ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ

Надвратная церковь грязна, хоть бела,
На стенах собора — приметы ремонта,
А вспомни, как травка здесь кротко цвела,
Звенели в три яруса колокола
И день откликался на зов Ферапонта.

А вспомни, как двигались на монастырь
Свирепость ордынца и жадность литвина,
Но слушала вся подмосковная ширь,
Как пастырь настраивал чутко Псалтырь,
И ей подпевали река и долина.

Все вынесли стены — и язву, и мор,
И ор петушиный двенадцати ратей,
Но свой оказался острее топор, —
Стал пуст монастырь и замолкнул собор,
Не шепчет молитв и не хочет проклятий.

Зачем ремонтируют? Будет музей?
Займут помещенье под фабрику кукол?
Сюда не идет на поклон мукосей,
И свой оказался чужого грозней, —
Хмель вытравил душу иль дьявол попутал?

Когда поднимается утром туман
Иль красит закат полосу горизонта,
Ревет над рекой репродуктор-горлан,
И отклика нет у заречных крестьян
На зов Ферапонта, на зов Ферапонта.

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

Четыре, как будто, столетья
В империи этой живем.
Нам веют ее междометья
Березкою и соловьем.

Носили сперва лапсердаки,
Держали на тракте корчму,
Кидались в атаки, в бараки,
Но все это нам ни к чему.

Мы тратили время без смысла
И там, где настаивал Нил,
Чтоб Элина речи и числа
Левит развивал и хранил,

И там, где испанскую розу
В молитву поэт облачал,
И там, где от храма Спинозу
Спесивый синклит отлучал.

Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы — кочевая горячность,
Бесплотный и вечный огонь?

Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

СОВРЕМЕННОСТЬ

Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И все же купиной
Неопалимой светим и пылаем.

И блещет молния над сатаной,
И Моисея ждет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

ДВА ВОСЬМИСТИШИЯ

Пока я живу, я боюсь.
Боюсь, что убьют иль убьюсь.
Попойки столичной боюсь
И койки больничной боюсь.
Боюсь наступления дня.
Боюсь, что принудят меня
Покинуть Советский Союз.
Боюсь, что всего я боюсь.

Но плоть возвращу я во прах,
Умру — и погибнет мой страх.
Из чаши забвенья напьюсь, —
Пойму: ничего не боюсь.
Тревог не наследует смерть
И страха не ведает смерть.
И братья — костры, топоры,
А смелость и смерть — две сестры.

ЛЕВ ВАЙНШЕНКЕР

ПЛОХАЯ РИФМА

Свой долг исполни. Все стерпи.
Ты видишь? Вновь они летят.
Три дня шагаем по степи.
Три дня нас «Юнкерсы» бомбят.
Прицельно бьют. Не наугад.
И улетают не спеша.
Листовки, словно листопад,
На землю падают, шурша.
Ловлю одну: невелика.
Карикатура в пол-листка:

«Бей жида — политрука,
Морда просит кирпича!»

Я вслух читаю, не хитрю.
Словечки эти обо мне.
«Плохая рифма! — говорю —
А тема пакостна вдвойне!»
Не скроешь правду от людей.
Пусть знают все из первых рук:
Я — тот проклятый иудей
И распроклятый политрук.
А впереди комбат — узбек,
Начштаба — русский человек.
Идем, над рифмою смеясь,
Листовки втаптывая в грязь.

ПРОЩАНИЕ

Стоянка не более часа,
Но врезалась в память навек:
Я здесь, на вокзале, прощался
С командой в пятьсот человек.

Прощался почти виновато,
Нескладный свой жребий кляня:
— Я в тыл возвращаюсь, ребята,
На фронт вам шагать без меня.

Поверьте, что пули не трушу.
Другой выполняю приказ.
Поймите!.. — Но прямо мне в душу
Ударила тысяча глаз.

Ударила гневом. Пронзила
Солдатской обидой крутой.
От строя меня отделила
Какой-то железной чертой.

И стал я для них — посторонний.
К войне непричастный. Ничей.
Случайный попутчик в вагоне
На несколько дней и ночей.

И тяжело легла мне на плечи
Холодная глыба стыда...
Когда ж я ребят этих встречу?
Наверно, уже никогда.

ЯН САТУНОВСКИЙ

Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет, и как раз 22 июня
зарегистрировавшийся с Люсей Лapidус –
о ком же еще
мне вспомнить, как не о тебе? Стою ли
я – возле нашего общежития –
представляю то, прежнее время.
В парк захожу – сколько раз мы бывали с тобой на Днепре!
Еду на Чечелевку, и вижу –
в толпе обреченных евреев
об руку с Люськой
ты, русский! –
идешь на расстрел,
Сашка Попов...

Ни на русого,
ни на чернявого
не науськивай меня,
не натравливай,
и падучего бить,
лежачего
не научивай,
не подначивай.
Я люблю
Шевченко
и Гоголя.
Жаль,
что оба они
юдофобы были.

Кончается наша нация.
Доела дискриминация.
Все Хаимы
стали Ефимами,
а Срулики –
Серафимами.

Не слышно и полулегального
галдения
синагогального.
Нет Маркиша.
Нет Михозлса.
И мне что-то нездоровится.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ОТЕЧЕСТВО И ОТЧЕСТВО

— По отчеству! — учил Смирнов Василий, —
их распознать возможно без усилий!
— Фамилии сплошные псевдонимы,
а имена — ни охнуть, ни вздохнуть,
и только в отчествах одних хранимы
их подоплека, подлинность и суть.

Действительно: со Слуцкими князьями
делю фамилию, а Годунов —
мой тезка и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.

Но отчество — Абрамович. Абрам —
отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он — отец, и отчество, однако,
я, как отчество, не выдам, не отдам.

ВАША НАЦИЯ

Стало быть, получается вот как:
слишком часто мелькаете в сводках
новостей,
слишком долгих рыданий
алчут перечни ваших страданий.

Надоели эмоции нации
вашей,
как и ее махинации
средством массовой информации!
Надоели им ваши сенсации.

Объясняют детишкам мамыши,
защищают теперь аспиранты
что угодно, но только не ваши
беды,
только не ваши таланты.

Угол вам бы, чтоб там отсидеться,
щель бы, чтобы забиться надежно!
Страшной сказкой
грядущему детству
вы еще пригодитесь, возможно.

Еврейским хилым детям,
Ученым и очкастым,
Отличным шахматистам,
Посредственным гимнастам —

Советую заняться
Коньками, греблей, боксом,
На ледники подняться,
По травмам бегать босым.

Почаще лезьте в драки,
Читайте книг немного,
Зимуйте, словно раки,
Идите с веком в ногу,
Не лезьте из шеренги
И не сбивайте вех.

Ведь он еще не кончился,
Двадцатый страшный век.

Созреваю или старею —
Прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился.
Я-то думал, что я прорвался.
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а сорвался.
Я, шагнувший ногою одною
То ли в подданство,
То ли в гражданство,
Возвращаюсь в безродье родное,
Возвращаюсь из точки в пространство.

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабу?
Мою бабу убивали так:
Утром к зданию горбанка
Подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
Легкие
 от годовалого голода,
Бледные
 от предсмертной тоски,
Пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
Бодро теснили старух, стариков
И повели, котелками бряцая,
За город повели,
 далеко.
А бабу, маленькая, словно атом,
Семидесятилетняя бабу моя
Крыла немцев,

Ругала матом,
Кричала немцам о том, где я.
Она кричала: — Мой внук на фронте,
Вы только посмейте,
Слышите,
наша пальба слышна! —
Бабка плакала, и кричала,
И шла.

Опять начинала
Кричать.
Из каждого окна
Шумели Ивановны и Андреевны,
Плакали Сидоровны и Петровны:
— Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно! —
Они шумели:
— Ой, що робыть
З отым нимцем, нашим ворогом! —
Поэтому бабку решили убить,
Пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
И бабка наземь упала.
Так она и пропала.

А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.

Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы — припертые к стене —
В ней точку обрели опоры.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Я даже не набрался,
когда домой вернулся:
такая наша раса —
и минусы, и плюсы.
Я даже не набрался,
когда домой добрался,
хотя совсем собрался:
такая наша раса.

Пока все пили, пили,
я думал, думал, думал.
Я думал: или — или.
Опять загнали в угол.
Вот я из части убыл.
Вот я до дому прибыл.
Опять загнали в угол:
С меня какая прибыль?

Какой-то хмырь лядащий
сказал о дне грядущем,
что путь мой настоящий —
в эстраде быть ведущим,
или в торговле — завом,
или в аптеке — замом.
Да, в угол был я загнан,
но не погиб, не запил.

И вот за века четверть,
в борьбе, в гоньбе, в аврале,
меня не взяли черти,
как бы они ни брали.
Я уцелел,
я одолел.
Я — к старости — повеселел.

Православие не в процветанье:
в ходе самых последних годов
составляет оно пропитанье
разве только крещеных жидов.

Жид крещеный, что вор прощенный —
все равно он — рецидивист,
И Христос его — извращенный,
наглый, злой, как разбойничий свист.

Но сумевший успешно выкрасть
облачения и кресты,
не умеет похитить
хоть немножечко доброты.

Жид крещеный — что конь леченый —
сколько бы ни точил он ляс,
как ни шествовал бы облаченный
в многошумный синтетик ряс,

проще с нами, просто жидами,
что давно, еще при Адаме,
не добром торговали и злом,
только фактом, только числом.

Люблю антисемитов, задарма
дающих мне бесплатные уроки,
указывающих мне мои пороки
и назначающих охотно сроки,
в которые сведут меня с ума.

Но я не верю в точность их лимитов —
бег времени не раз их свел к нулю —
и потому люблю антисемитов!
Не разумом, так сердцем их люблю.

— Примазываются к России,
ко всей ее одной шестой!
У них расчет совсем простой.
Верняк! Примазаться к России!

— А может, их тяжелый труд
России добавляет ладу?
А если денежки берут —
не чаевые, а зарплату?

Не отвечают на вопрос.
Проклятье или междометье
нуждается в ином предмете,
а не в продуманном ответе.

Не отвечают на вопрос.

ПРО ЕВРЕЕВ

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

А я — привык. Все те, кто не привыкли,
по-польски згнули, по-украински зныкли.
Их били и сшибали, словно кегли,
и этого немногие избегли.

А я привык. Я выдержал, не так ли?
Неприхотливый, вроде горной сакли,
разношенный, как войлочные туфли,
я теплоюсь. Те, кто не привык, — потухли.

Солнце ушло на запад.
Я — остаюсь с востоком,
медленным и жестоким.

Я остаюсь с багровым,
огненным и кровавым.
Все-таки — трижды правым.

Солнце сюда приходит,
словно на службу. Я же
денно, ночью, вечно
в этом служу пейзаже.

Солнцу трудно, страшно
здесь оставаться на ночь.
Я — привычный, здешний,
словно Иван Степаныч,
словно Степан Семеныч,
словно Абрам Савелыч.
Если соседи — сволочь,
значит, я тоже — сволочь.
Если соседи честные,
значит, мы тоже честные.
Я ведь тугошний, местный,
всем хорошо известный.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Еврейские беды услышались первыми.
Их голоса звучали громчей,
поскольку не обделили нервами
евреев в эпоху дела врачей.

Потом без нервов, с зубами сжатыми,
попер Чечни железный каркас.
Ее выплескивали ушатами
из Казахстана на Кавказ.

Потом медлительные калмыки,
бедолаги и горемыки,
из ссылки на родину, влачась в пыли,
из пустоты в пустыню пошли.

А волжские немцы ждали долго,
покуда их возвратят на Волгу,
и, повздыхав, пошли черепицу
обжигать
и крыши стлать,
поскольку им нечего торопиться.

Потом татары засыпали власть
начала мольбами, потом прошениями,
потом пошел татарский крик,
чтоб их не обошли решениями,
чтобы вернули в Крым.

Все эти вопли, стоны, плачи
в самый долгий ящик пряча,
кладя под казенных столов сукно,
буксует история давным-давно.

В нее, в историю все меньше верят.
Все меньше спроса на календари,
а просто пьют, едят и серят
от зари до зари.

ПОЛУКРОВКИ

Простыни когда-то расстелили,
второпях зачали,
а теперь вы разве делимы
на концы и на начала?

Водка тоже из воды и спирта,
а поди разлей на спирт и воду,
если столько этой водки спито
за десятилетия и годы.

Вот вы и дрожите, словно листики,
в буре обоюдных нареканий,
полукровки – тоненькие мостики
через море. Меж материками.

Что ж вам делать в этом море гнева?
Как вам быть в жестокой перекройке?
Взвешенные меж земли и неба
смешанные крови. Полукровки.

РОДНОЙ ЯЗЫК

В моей профессии — поэзии —
измена Родине немислима.
Язык не поезд. Как ни пробуй,
с него не спрыгнешь на ходу.
Родившийся под знаком Пушкина
в иную не поверит истину,
со всеми дохлебаёт хлебово,
разделит радость и беду.
И я не только достижениями
и восхищен и поражен,
склонениями и спряжениями
склонен, а также сопряжен.
И я не только рубежами,
их расширением прельщен,
но суффиксами, падежами
и префиксами восхищен.
Отечественная история
и широка и глубока
как приращеньем территории,
так и прельщеньем языка.

САМУИЛ МОРОЗ

...Лихой беды не миновать нам:
Пусть будет мир или война,
Моим единокровным братьям
Все та же участь суждена.

Мы там, куда нас не просили,
Но темной ночью до зари
Мы пасынки слепой России
И мы ее поводыри.

СТАРИКИ

Они стоят в очередях,
Седобородые евреи,
Не став ни злее, ни добрее,
Оседлые — не из бродяг.

Они не едут никуда,
Их никуда не приглашают.
Они давно здесь всем мешают,
Но это тоже не беда.

Их называют злобно «эти».
Они не эти и не те.
Они одни, как в пустоте:
Их жены умерли, а дети

Уехали... Им догорать,
Как догорать свечам субботним.
Чужим, больным и безработным,
Им умирать... Им умирать...

РАБИНОВИЧ

Мы не знали, как его зовут.
Называли просто — Рабинович.
Невообразимо мал и худ.
За плечами — узелок сокровищ:
Были тут смазные сапоги,
Было женское пальто на вате...
Было кое-что еще: враги
Отوبرали лишнее на вахте.
В чем одет? Ермолка, лапсердак.
На ногах — приличные штиблеты.
Был одет по-летнему, чудака.
Там, где забирали, было лето.
Ах, за что сидит? Азохн вей,
Вы бы там, в НКВД спросили
Или в управленье лагерей,
Сколь было их тогда в России.
Ну, как все, конечно, торговал —
Боже мой, какие там товары...
Воровал? Ах, если б воровал!
Поместили у окна на нары.
В первом же этапе он погиб.
(Ватное пальто забрали урки.)
«Воспаленье легких» или «грипп» —
Что-то написали там придурки...
Вот и все. Напомнило о нем
Просто совпадение фамилий.
Рабинович... Снова, как огнем,
Мне больную душу опалили.

ДАВИД САМОЙЛОВ

Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикасаться к победам.

Мне выпало горе родиться в двадцатом,
В проклятом году и в столетье проклятом.

Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.

Как валенок мерзлый валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
— Мой милый сын! Что случилось с тобою!

Он проклинал наш век, войну, судьбу.
И за меня он требовал расплаты.
А я смиренно говорил ему:
— Отец, они ни в чем не виноваты.

И видел я. И понимал вдвойне,
Как буду я стоять перед тобою
С таким же гневом и с такой же болью...
Мой милый сын! Увидь меня во сне!..

А.Я.

...И тогда узнаешь вдруг,
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А уголок пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.

Выйти из дому при ветре,
По непогоду выйти.
Тучи и рощи рассветны
Перед началом событий.

Холодно. Вольно. Бесстрашно.
Ветрено. Холодно. Вольно.
Льется рассветное брашно.
Я отстрадал — и довольно!

Выйти из дому при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни...

М. Козакову

Что полуправда? – Ложь!
Но ты не пугай
Часть правды с ложью.
Ибо эта часть
Нам всем в потемках не дает пропасть –
Она ночной фонарик незадутый.

Полухарактер – ложный поводырь.
Он до конца ведет дурной дорогой.
Характер скажет так с мученьем и тревогой:
«Я дальше не иду! Перед тобою ширь.
И сам по ней ступай. Нужна отвага,
Чтобы дойти до блага. Но смотри:
За правды часть и за частицу блага
Не осуди, а возблагодари!»

Ах, грань тонка! На том горим!
Часть... честь... «Не это» путается с «этим».
Порой фонарик правды не заметим,
За полуправду возблагодарим.

А наши покаянья стоят грош,
И осуждения – не выход.
Что ж делать?
Не взыскуя выгод,
Судить себя. В себе.
Не пропадешь.

БАЛЛАДА О КОНЦЕ СВЕТА

(Из блокнота 1941 г.)

Последний час сражалась рота.
И каждый к гибели привык.
Хорошая была работа,
Да мало виделось живых.

Стреляли изредка, с прищуром,
Оставшиеся храбрецы.
Засыпанные амбразуры
Обороняли мертвецы.

И приближалась грозно, внятно
Та неизбежная черта,
Где только под ноги гранату
С последним лозунгом: «За Ста...»

Но тут, врываясь в цепь событий,
Сквозь посвист пуль и минный вой,
Закаркал громкоговоритель
За вражеской передовой.

«Внимание! Бросайте ваффен!
Напрасно будет кровь пролит!
В пять сорок на участке нашем
В планету врежется болид.

Мы скоро будем тучей пыли —
И мы и вы, кто бьется тут.
И нас не будет, всех, кто были.
Штык в землю, руссен! Всем капут!

Не призываем вас сдаваться.
И сами не идем к вам в плен.
Не призываем вас брататься,
Нас скоро побратает тлен.

Вниманье! По последней сводке
До катастрофы ровно час.
И если вы хотите водки,
Довольно шнапса есть у нас!»

И замолкает перестрелка.
И слышно, как течет вода.
И только у комроты стрелка
Неумолима, как всегда.

Но тут, придя в соображенье,
Героев собирает в круг,
О межпланетном положенье
Повестку ставит политрук.

Что, мол, ввиду поломки раций
Ориентация туга.
Но я зову не поддаваться
На провокации врага...

И только лица побелели.
Цветной сигнал взлетел как плеть...
Когда себя не пожалели,
Планету нечего жалеть!

АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

ПЕСЕНКА

Аркадию Штейнбергу

Не думать никогда о чистогане,
не дожидаться спелых виноградин.
Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой цыгане,
есть конь у нас, и тот чужой — украден.

Приснятся кипарисы, но скорее —
сосновый бор, ольха или рябина.
Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой евреи,
есть дом родной, и тот, увы, чужбина.

От самого младенчества до гроба
скитается душа в жару и в холод.
Что толку плакать, мы бродяги оба,
есть молодость, и та — покуда молод.

Смыкаются над нами воды Леты,
холодные, как глубина колодца.
Что толку плакать, мы с тобой поэты,
есть песенка, и та — пока поется.

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

Памяти Матвея Блантера

В песчаный берег врылась рота,
И как на вечный упокой
Ее валила с ног дремота,
А немцы были — за рекой.
К тому ж они,
 едри их в душу,
Не спали в этот час ночной.
И стал один играть «Катюшу»,
Припав к гармонике губной.
Играл в тоске,
 мой сон осия,
Того не зная, сатана,
Что эта музыка в России
Была евреем сложена.

ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ

Мать, потеснись в гробу немного,
Хочу я спрятаться во мгле
И от безжалостного бога,
И от живущих на земле.

Хочу я спрятать свою душу,
Пускай родимая рука
Оберегает ее в стужу,
Как бесприютного щенка.

Ты скажешь, матушка, что псина
К тебе пристроилась в гробу,
А это гладила ты сына,
Его бездомную судьбу.

«Как говорил отец...» —
А он немел от страха,
Когда бездомным псам свою готовил речь,
И тлела на плечах отцовская рубаха,
Как будто занесли над головою меч.

Отец не говорил — он всплескивал руками...
«Как говорил отец...» А он в своем бреду
Предвидел Бабий Яр, предвидел рвы и ямы,
Он чуял за версту грядущую беду.

Отец не говорил — он так кричал неслышно,
Что словно бы огонь ярился на губах,
И уши зажимал от ужаса Всевышний,
И кости мертвецы трясли в своих гробах.

Когда простор окидываешь взором,
Дивишься, как же мог житейский вздор
Считать ты и судьбой, и приговором...
Нет, есть одно величие — простор.

Простор земли, невысказанный для взгляда,
Простор души, ее земная ширь...
Мне ничего воистину не надо,
Мне только нужен целиком весь мир.

Мой грешный мир, мой мир святее бога,
Где что ни шаг, то тайна бытия,
И все-то не измерена дорога
В какие-то бескрайние края.

Так пусть душа крылом почует волю,
Как птица, что от холода звенит,
И ни о чем свою не молит долю,
И ничего в зените не таит.

Не бойся даже смерти. Покаянно
Ты припадешь, устало-неживой,
К молочным рекам белого тумана,
К наследию землицы гробовой.

И пусть земля тебя накормит вволю
И небом, где вселенский бродит хмель,
И тою несказанною любовью,
Что ты искал за тридевять земель...

Григорию Корину

1

Вы когда-то забыли, что рядом живу я на свете,
А иначе бы я не шалел столько лет от тоски,
Вы забыли, что вместе росли мы — блаженные дети, —
А потом оглянулись на прошлую жизнь — старики...

Я по-прежнему странный мальчишка, по-прежнему робкий,
Я шепчу вам, как мальчику мальчик (старик — старику):
— Я жука подарю тебе, Гриша, вот в этой коробке,
Ах, как хочется мне, чтобы волю мы дали жуку...

И вчера еще маме сказала седая гадалка,
Что сынок — ангелочек, да только нездешен слегка
И что будет всю жизнь мне кого-нибудь до смерти жалко,
Как сейчас я жалею вот этого зверя — жука...

2

Мне снилось, что старые матери наши знакомы,
Бредут по местечку, как синагогальные мыши,
И мать говорит: «Я хотела бы, чтобы у Нёмы
Хороший был друг, вроде вашего мальчика Гриши...

Я даже сказать вам об этом, соседка, не смею —
Мой мальчик ночами изводит стихами бумагу,
И делает письма размером с бумажного змея,
И их посылает какому-то Б. Пастернаку.

Конечно, поэт этот писем его не читает,
Ни разу почтарка ответа нам не приносила,
Но мальчик томится и очень, и очень страдает,
И сердце мое разрывается, глядя на сына.

Ах, если бы Гриша его научил развлекаться –
Ну, скажем, проделать какой-нибудь фокус с тарелкой
И даже купаться, но только не в речке купаться,
А где-нибудь там, где купаются гуси и мелко.

Но что я от вас, дорогая соседushка, слышу –
Ваш тоже, оказывается, сочинитель куплетов...
А я-то считала порядочным мальчиком Гришу...
Вы только подумайте, сколько на свете поэтов!..

Скажите, в кого они выросли, наши мальчишки,
Откуда на голову матери столько позора?..
Мой муж не прочел ни одной напечатанной книжки,
Сама я читаю, но это не книжка, а Тора».

Сколько лет нам, Господь?... Век за веком с тобой мы стареем...
Помню, как на рассвете, на въезде в Иерусалим,
Я беседовал долго со странствующим иудеем,
А потом оказалось – беседовал с Богом самим.

Это было давно – я тогда был подростком безусым,
Был простым пастухом и овец по нагориям пас,
И таким мне казалось прекрасным лицо Иисуса,
Что не мог отвести от него я восторженных глаз.

А потом до меня доходили тревожные вести,
Что распят мой Господь, обучавший весь мир доброте,
Но из мертвых воскрес — и опять во вселенной мы вместе,
Те же камни и тропы, и овцы на взгорьях все те.

Вот и стали мы оба с тобой, мой Господь, стариками,
Мы познали судьбу, мы в гробу побывали не раз
И устало садимся на тот же пастушеский камень,
И с тебя не свожу я, как прежде, восторженных глаз.

СТИХИ УХОДА

Больше жизни любивший волшебную птицу — свободу,
Ту, которая мне примерещилась как-то во сне,
Одному научился я гордому шагу — уходу,
Ухожу, ухожу, не желайте хорошего мне.

Ухожу от бесед на желудок спокойный и сытый,
Где обширные плечи подсчитывают барыши...
Там, где каждый кивок осторожно и точно рассчитан,
Не страшит меня гром — шепоток ваш торгаший страшит.

Ухожу равнодушно от ваших возвышенных истин,
Корифеи искусства, мазурики средней руки,
Как похабный товар, продающие лиры и кисти,
У замызганных стоек считающие медяки.

Ухожу и от вас — продавщицы роскошного тела,
Мастерицы борщей и дарительницы услад,
На потребу мужей запустившие ревностно в дело
И капусту, и лук, и петрушку, и ляжки, и зад.

Ах, как вы дорожите подсчетом, почетом, покоем —
Скупердяи-юнцы и трясущиеся старички...
Я родился изгоем и прожил по-волчьи изгоем,
Ничего мне не надо из вашей поганой руки.

Не простит мне земля моей волчьей повадки сутулой,
Не простит мне гордыни домашний разбуженный скот...
Охромевшие версты меня загоняют под дула,
И ружейный загон — мой последний из жизни уход.

Только ветер да воля моей верховодили долей,
Ни о чем не жалею — я жил, как хотелось душе,
Как дожди и как снег, я шатался с рассвета по полю,
Грозовые раскаты застряли в оврагах ушей.

Но не волк я, не зверь — никого я не тронул укусом:
Побродивший полвека по верстам и вехам судьбы,
Я собакам и кошкам казался дружкой Иисусом,
Каждой твари забытой я другом неназванным был.

...Если буду в раю и Господь мне покажется глупым,
Или слишком скупым, или, может, смешным стариком, —
Я, голодный, как пес, откажусь и от райского супа —
Не такой это суп — этот рай — и Господь не такой!

И уйду я из неба — престольного божьего града,
Как ушел от Земли и как из дому как-то ушел.
Ухожу от всего... Ничего, ничего мне не надо...
Ах, как нищей душе на просторе вздохнуть хорошо!..

Почему полюбил я просторы?..
Потому что в пути не видна
Нажитая усталость во взоре
И мирская моя седина.

Потому что прохожий – не тело,
Что бредет по широкой меже,
А пространства кусок огрубелый
При нехитром его багаже, –

Перелески, поля, косогоры,
Свежих ливней русалочья весть...
Разве знают просторы о горе?..
Да и где оно, горе-то, есть?

Только даль без конца и без края,
Только серая теплая близь,
Только доля – своя и чужая –
И холодная яркая высь...

ЯКОВ АКИМ

РОДИНА

Приснилось мне, что Родину покинул
Я навсегда. В кошмарном этом сне
Метался я, раздавлен, опрокинут,
С тяжелой совестью наедине.

Давно уже мне не было так страшно.
Чем пренебрег, что некогда любил,
Все перебрал — от мелочей домашних
До редко навещаемых могил.

О, мир широк, я знаю! Предрассудок,
Быть может, с детства носим за спиной.
Но каждый миг, в любое время суток
Хочу, чтоб были рядом, здесь, со мной

Сутулая отцовская кожанка,
За окнами бревенчатый завод,
В нечастой ржи стрекочущая жатка,
Сырой церквушки закопченный свод.

Нет, Родина — не только пасторали.
С ней стыд делили и копили гнев.
Рубахи наши
матери стирали
И вслед глядели нам, окаменев.

Был первый бой в степи, и грохот адский,
И две пилотки плыли по реке,
И чудом уцелел в мешке солдатском
Гостинец бабкин — масло в пузырьке...

Чего с тех пор ни повидал, ни слышал,
Богатый хлеб вкушал, ел лебеду,
Но это было здесь, отсюда вышел
И только в эту землю я уйду.

В. Дразунскому

Что мы с тобою жили,
Не будут знать века.
Мы просто заслужили
Друзей, да облака,

Да память словом добрым,
Да снежные виски,
Да на асфальте мокрым
Тюльпанов лепестки.

Нас вспомнит старый тополь,
А может, мать и брат.
Мы натерпелись вдоволь
Находок и утрат,

Предательства людского,
И проводов во тьму,
И еще такого —
Не скажешь никому.

Мы слов боялись громких
И взглядов неживых.
Мы знали о потомках,
Но верили в живых.

И потому мы жили
Не впрок, не на века,
А просто заслужили
Друзей да облака.

Ю. Соткин

Стога и луна.
Луна и стога.
Мне их тишина,
Их печаль дорога.

На выгоне лошадь
Сопит и жует.
Кто лучше, кто плоше
В деревне живет.

От хлеба, от хлева,
От потной косьбы
Направо, налево
Уходят столбы.

Уходят столбы
От каждой избы,
Текут провода
Незнамо куда...

Луна и стога.
Стога и луна.
Мне их тишина,
Тоска их нужна,

Чтоб кривде не сдаться,
Чтоб вытряхнуть спесь,
Чтоб в песне остаться
Таким, какой есть.

БОРИС ЧИЧИБАБИН

ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Был бы я моложе — не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал бы славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», —
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помугилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, —
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа — цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

ИЗ СОНЕТОВ ЛЮБИМОЙ

В тебе семитов кровь туманней и напевней
земли, где мы с тобой ромашкой прорастем.
Душа твоя шуршит пергаментным листом.
Я тайные слова читаю на заре в ней.

Когда жила не здесь, а в Иудее древней,
ты всюду по пятам ходила за Христом,
волшбою всех тревог, весельем всех истом,
всей нежностью укрыв от разъяренных гребней.

Когда ж он выдан был народному суду
и в муках умирал у черни на виду,
а лоб мальчишеский был терньями искусан,

прощаясь и скорбя, о как забились вдруг
проклятьем всех утрат, мученьем всех разлук
ладони-ласточки над распятым Исусом.

А. Вернику

Не горюй, не радуйся —
дни пересолили:
тридцать с лишним градусов
в Иерусалиме.

Видимо, пристало мне
при таком варьянте
дуть с друзьями старыми
бренди на веранде.

Лица близких вижу я,
голосам их внемлю,
постигая рыжую
каменную землю —

ублажаю душеньку.
Дай же Бог всем людям
так любить друг друженьку,
как мы ныне любим.

Чую болью сердца я:
розня и равняя,
Муза Царскосельская —
всем нам мать родная.

Все мы были ранее
русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я — на Украине.

Смысл всего, как марево,
никому не ведом —
ничего нормального
я не вижу в этом.

Натянула вожжи — и
гнет, не отпуская,
воля нас — не Божия,
да и не людская.

«Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях — труха.
Сплошные, брат, Содомы с Адамова греха.
Повырублен, повыжжен и, лучшего не ждя,
мир плосок и недвижим, как замыслы вождя.

Он занят делом, делом, а ты, едрена вошь,
один на свете белом безделицей живешь,
а ты под ветхой кожей один противу всех.
А может, он-то — Божий, а не Адамов грех?..»

Я — слышу и не слышу. Я дланями плещу —
а все ж к себе под крышу той дряни не ташу.
Истошными ночами прозрений и разлук
безбожными речами не омрачаю слух.

Вам блазнится — сквозь нехоть в зажмуренной горсти —
куда-нибудь уехать, чтоб что-нибудь спасти.
Но Англия, Москва ли — не все ли вам равно?
Смотрите: все в развале — и все озарено.

Безумные искусства сексэнтээрных лет
щекочут ваши чувства, а мне в них проку нет.
Я ближним посторонний, от дальнего сокрыт,
и мир потусторонний со мною говорит.

Хоть Бог и всемогущий, беспомощен мой Бог.
Я самый неимуший и телом изнемог,
и досыта мне горя досталось на веку,
но, с Господом не споря, полвека повлеку.

Под хаханьки и тосты, под жалобы и чад
мне в душу светят звезды и тополи молчат.
Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.

Один из погребенных с фонариком Басе,
я плачу, как ребенок, но знающий про все,
клейменный вашим пеклом и душу вам даря.
А глупость верит беглым листам календаря.

Вы скажите: «О Боже, да он — без головы?..»
А я люблю вас больше, чем думаете вы.
Пока с земли не съеду в отдохновенном сне,
я верю только свету и горней тишине.

Да прелесть их струится из Вечности самой
на терпкие страницы, возлюбленные мной.
И я скорблю и горблюсь, и в думах длится ночь.
А глупость вертит в глобус. И ей нельзя помочь.

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.

Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.

Край души, больная Русь, —
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.

Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.

Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.

Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.

Броня державного кордона —
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
да нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали, —
но всем живым нельзя уехать
с живой земли.

С той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с мертвой, то на черта
и жить тогда?..

Я верен тем, кто остается
под бражный треп
свое угрюмое сиротство
нести по гроб,

кому обещаны допросы
и лагеря,
но сквозь крещенские морозы
горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи
под ложью дней,
гадать, кому придется легче,
кому трудней.

Пахни ж им снегом и сиренью,
чума-земля.
Не научили их смиренью
учителя.

В чужое зло метнула жизнь их,
с пути сведя,
и я им, дальним, не завистник
и не судья.

Пошли им, Боже, легкой ноши,
прямых дорог,
и добрых снов на злое ложе
пошли им впрок.

Пуškai опять обманет демон,
сгорит свеча, —
но только б знать, что выбор сделан
не сгоряча.

Опять я в нехристях, опять
меня склоняют на собраниях,
а я и так в летах неранних,
труд лишний под меня копать.

Не вправе клясть отчаянный выезд,
несу как крест друзей отъезд.
Их Бог не выдаст — черт не съест,
им отчий стыд глаза не выест.

Один в нужде скорблю душой,
молчу и с этими и с теми, —
уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.

Дай Бог свое прожить без фальши,
мой срок без малого истек,
и вдаль я с вами не ездук:
мой жданный путь намного дальше.

Из глаз — ни слезинки, из горла — ни звука.
Когтями по сердцу — собака-разлука.

А пала дорога, последняя в мире,
бессрочней острога, бескрайней Сибири.

Уже не помогут ни рощи, ни реки,
чтоб нам не расстаться на вечные веки.

За дебри и зори уводит дорога,
страшнее любого тюремного срока.

Заплачет душа по зеленому шуму,
но поздно впотьмах передумывать думу.

Мы вызубрим ад до последнего круга,
уже никогда не увидев друг друга.

Прощайте ж навеки и знайте, уехав,
что даже не Пушкин, не Блок и не Чехов,

не споры ночные, не дали речные,
не свет и не память — ничто не Россия.

Забудьте на воле наш холод холуйский,
но лучшее в доле зовите по-русски.

Себе во спасенье и нам во спасенье
храните России заветное семя.

Тряхните над миром сумой переметной,
авось разрастется росток перелетный.

Не снежная заметь, не зовы лесные —
России не занять, вы сами — Россия.

Запомните это для горестных буден,
да нас не забудьте, как мы не забудем.

Храните звучанье, ищите значенье.
А все остальное — мираж и мученье,

крутое решенье, кромешная мука,
чтоб сердце до крови изгрызла разлука.

Носите до гроба свою беззащитность —
свободу, которой ничто не лишит нас.

Вы сами — Россия, вы — семья России.
Да светят вам горы веселья простые.

Тебе, моя Русь, не богу, не зверю —
молиться молюсь, а верить — не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, —
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости, ни бескорыстью,
и зря о твоём же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блюде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди —
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит, —
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

ВАДИМ ПОПОВ

ЛАГЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подогретый общим интересом,
На грядущий беспокойный сон
нам читает лекции профессор.
Он теперь — ээка Эфроимсон.

Где читать, на кафедре, в сарае ль,
или где-нибудь на Бобкин-стрит...
Отпусти такого — он в Израиль,
несомненно, лыжи навострит!

В деле вывод сам собою вытек:
заклеймен как явный формалист.
Вообще — умеет много гитик,
вообще — заядлый сионист!

Только нам он дорог без протекций.
Разгоняет и тоску, и грусть,
да вдобавок после этих лекций
Гумилева шпарит наизусть.

Мужеством балладным Гумилева
осветляет мрачность бытия.
Слушают: Софианиди Лева,
Отиа Пачкория и я.

Пусть друг друга раньше мы не знали
и судьбы хотели бы иной,
но в своем интернационале
связаны до прочности цепной.

И сидим на лекциях на этих,
впитывая каждый взгляд и звук.
Нам читает лекции генетик —
доктор уничтоженных наук.

СЕМЕН БОГУСЛАВСКИЙ

Мой русский внук, ты пишешь на иврите,
А я, еврей, на русском языке.
Сместилось все, но, что ни говорите,
Об этом я не думаю в тоске.

Россия для тебя – воспоминанье,
И каждый день включаешь ты ТВ,
И мне не удивительно признание,
Что ты еще скучаешь по Москве.

А для меня Россия – это песня,
Которую я не устану петь.
Дожить бы, чтобы чище и прелестней
Была та песня, только бы успеть.

Российские люблю стереотипы:
Поэзию, природу, женский лик
И душу.

А когда в цветенье липы,
Я плачу, хоть от слез давно отвык.

Не рвусь себя к другим богам причислить,
Но своего я тоже не отдам,
И не могу о родине помыслить
Без нежности к российским городам.

Все больше смешанных, все меньше чистокровных.
Я тоже чистокровный, ну и что ж?
Я русскому по паспорту неровня,
А с иудеем языком не схож.

В Израиле в гостях, в России дома
Живу,
 а сердце рвется пополам.
И, удивительной судьбой ведомый,
Иду,
 и кажется, что я ни здесь, ни там.

И где бы, солнце, ты ни закатилось,
Взойдешь везде, рождая свет во мгле.
Сместилось все. Но все и совместилось,
Чтоб жить на общей родине – Земле.

ГРИГОРИЙ КОРИН

Я — куст дикорастущий
На выжженной стерне.
От легкой райской кущи
Живу я в стороне.

По мне метут поземки,
И град стучит по мне,
Живу я без подкормки,
Без помощи извне.

И сам я выбрал поле
И небо над собой
С дикорастущей волей,
С безумною судьбой.

Что с тобой, Россия, случилось?
Где ни буду, ты
Оборванкою осталась
В море нищеты.

Я не знал, как страшно это.
Но в краях чужих,
Никого не видел в бедах,
Чтоб страшней твоих.

Разнесли тебя до нитки.
Ступишь — грязь и мрак.

Где же золотые слитки
Тех сибирских драг?

Погляди, в Иерусалиме
на камнях нагих
Все растет. А мы — нагими
На полях родных.

И примолкших, пьяных, грустных
Всюду узнают.
Их веками помнят, русских.
Их немало тут.

И растут от года к году
Дети нищеты.
Скоро своего народа
Не увидишь ты.

В честолюбивом мире
Или в преддверье битвы
Давидовой Псалтири
Нет трепетней молитвы.

Потомки Авраама,
Наследники Христовы,
Зачем два разных храма
В просторах Иеговы?!

И крест, и магендоид
Из лона одного
И каждому готовят
Бессмертие его.

ИУДЕИ ИЗРАИЛЯ

Мне твердят: «Я иудей».
А глядит в глаза испанец.
Нет вокруг его смуглей,
Стройный, вытянут, как танец.
А другой — он эфиоп,
Ничего в нем от семита,
И двугорбый крепкий лоб,
А вокруг — такая ж свита.
И родной язык — иврит.
И в негромкой льется речи,
Эфиоп ли говорит,
Сомалийский ли предтеча.
В иудейской стороне
Нет привычных иудеев, —
Негров вижу на броне,
Войско храброе евреев.
Что за люди? Западня!
Ярмарка из разномастья.
Пушкинская сплошь родня
В поиске извечном счастья.

СТИХИ ИСХОДА

1

Господи! Я строил по крупинке,
Словно на аптекарских весах,
А теперь я с миром в поединке,
И темно и хмуро в небесах.

Завтра не докличусь ни до внуков,
Ни до дочери, ни до кого,

Только вспоминай — из многих звуков
Чей же звук родней тебе всего.

Господи! Не будет мне покоя
Сколько ни старайся, западня
Намела здесь на пути такое,
Что вокруг ни ночи нет, ни дня.

Разметало, раскидало душу,
Вся она покоилась в роду,
А без рода растрясет, как грушу,
Упадет, беззвучная, в аду.

Невозможно, голосов не слыша
И не видя никого на дню,
Ощущать, как рядом люди дышат,
Ищут, как и я, свою родню.

Господи! Чьи это все затеи?
Разлучили нас, смели как сор.
Вот и разлетелись иудеи,
Как на дно, все в роковой простор.

Разлетелись, и никто не знает,
Где уснуть и где проснуться им.
Божье сердце нас не покарает,
Нас карать придется нам самим.

Были вместе, был наш род единый,
Каждый знал, что рядышком другой,
Не осталось даже половины,
Вехи не осталось никакой.

Где-то там мой род и существует.
Господи! Мой род не урони

И прости, что имя Твое всеу
Называю я из западни.

И нелепо с миром в поединке
Я стою, разгневанный старик.
Собирал его я по крупинке,
Вот и прах летит за материк.

Беспокойный мир оберегая,
Укрепи детей моих в пути,
Доведи от края и до края.
Их, безвинных, Ты не упусти.

2

Поднимаю посох
Из небытия,
Весь в чужих угрозах,
Страх не тая.

Снова с блудным сыном
Завожу я речь.
Мне в дому пустынном
Прахом бы полечь.

В свете смутном-смутном
Думы о родне,
Вновь прибило утром
К новой западне.

Внуки мои рядом,
С ними рядом дочь,
И зовущим взглядом
Все хотят помочь.

Но куда поеду,
Как до них дойду,
Мне по белу свету
Не пройти версту.

Словно блудным дедом
Стал я, блудный сын, —
Никому неведом
Прах моих пустынь.

Сердце разорвется
Где-нибудь в пути
И не отзовется
Ни в одной груди.

Где-нибудь поближе...
Двинулись куда!
Доберись поди же —
Горы да вода.

Упаси же внуков
И детей, Господь.
Дай мне сонмы звуков
В сердце побороть.

3

Уезжали во спасенье.
Божее благословенье,
Опустившись на колени,
Вымолил для них.
Господи! Детей помилуй,
Дай им крепость, дай им силу,
Каждому дай по светилу,
Из припасов дай своих.

Все — для них. Я так старался,
Еле до дому добрался,
Наконец-то отоспался,
Но без них я не могу.
Помоги теперь мне, Боже,
Посмотри, как я ничтожен,
Слезы мне всего дороже,
Жизнь моя неумогу.
Как мне быть, что делать ныне,
Где ни буду я в пустыне,
Легкий свет авиалиний
Для меня везде погас.
А другого нету ходу,
Чтоб добраться к пароходу,
И не расставаться сроду
Ни в какой опасный час.
Если жить — в одном подъезде,
Если умирать, то вместе
От одной безумной вести
Или от другой.
Но держаться друг за друга,
До последнего недуга,
До решающего звука
Жизни роковой.

4

Стал плаксив. Все говорю с собою.
Да и вслух, не вижу никого.
Словно поменялся с кем судьбою, —
И себе чужой, боюсь всего.

И кричат. Привыкли так. Как будто
Одичал я и совсем глухой.
И не вижу над собою утра,
И своей не загорюсь судьбой.

С кем обмолвлюсь не пустым словечком
О моей печали и тоске,
Жить уже непримиримо вечно,
Вечно спать на каменной доске.

И звонок дойдет из Тель-Авива,
И успею услышать его.
И душа откроется счастливо,
Но уже не скажет ничего.

ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ

УЧАСТЬ

Истока два слились, мой дух взлелеяв,
Теснее пары близнецов сиамской.
Потомок богоизбранных евреев.
Питомец я России мессианской.

Я сросся с ней, пройдя веков утруску,
Усыновленный ей не как подкидыш.
Я говорю и думаю по-русски,
Не презирая ни иврит, ни идиш.

Найдешь ли в море, чьи сошлись в нем реки,
А в лаве — чьи перемешались руды?
Испанию поймешь ли без Эль-Греко,
Почувствуешь ли Чили без Неруды?

Ты той земли частица, где запаса
Всем, что вовек светло и перевозданно.
Как Францию представить без Пикассо,
Америку понять без Сарояна?

Корпя над ворохами переводов,
Сумей подняться выше словоблудий:
Нет в мире богоизбранных народов,
Есть в мире богоизбранные люди.

После долгих невзгод, что покруче охот,
И круженья голов в иллюзорном задоре —
О еврейство российское, — вот твой исход:
Переход через Красное — красное! — море.

Через кровь, и знамена, и звездный пурпур,
В пятый пункт превративший свое пятилучье, —
Не певучая Ханука, а Йом-кипур
Обреченно венчает свое злополучье.

Ты включиться рвалось в мировой оборот,
Но вживалось в тебя сквозь решетки анкеты,
Что не род и не племя ты, и не народ,
А гонимых и проклятых тесное гетто.

Для тебя не раскрыл лепестков райских крин,
Над тобою витали в пустынях и топях
Буйный посвист погрома да пух от перин,
Запах газовых камер да гарь трупных топок.

Поневоле ты стало легко на подъем,
Все ища, что родное и что не родное,
И в искусственно вновь создаемый дом
Ты бредешь, как в изгнание очередное...

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

Пронзены половецкими стрелами русские сны,
Мы живем или после войны, или перед войной,
За собой никакой мы не знаем вины, потому и сильны, —
За чужою виной как за каменной, видно, стеной.

Но я выродок, я со стеною воюю во сне,
Мне чужая вина не защита, на то есть Покров.
Да и днем предо мною кирпич. Что сказать о стене,
Ржавым цветом похожей на окаменелую кровь?

Где стихи про любовь? Все рифмую войну и вину,
Я устала сама от себя. Я достану шпагат,
Сплошняком снизу доверху туго его натяну
И пушу по нему вифлеемских кровей виноград.

Виноградный побег, оскуделый за столько эпох,
Все ж неплох, он прикроет кирпич, успокоит мой стон,
И тебя возвернет, и расслабит мой выдох и вдох, —
И придешь, и возлюбишь, и выключу я телефон.

Ты увидишь, как вспыхнут зрочки виноградным огнем,
И забудемся мы, и забудем, в каком полусне
И когда мы живем, до войны или после живем,
И какая вина замурована в этой стене.

Ветер дует и свет задувает,
Задувает и сердце мое,
Но не верьте мне, так не бывает!
Это нас, как табак, набивает
Время в трубку и курит ее,

И выкуривает из таможни
В синий воздух родных и друзей,
С каждым часом на сердце тревожней,
С каждым разом мне все невозможней
Дождаться минуты своей.

Ветер дует и речь задувает...
Но не верьте мне, так не бывает,
Я порю несусветную чушь!
Это время, куря, затевает
Мировую миграцию душ.

Слыть отщепенкой в любимой стране —
Видно, железное сердце во мне,

Видно, железное сердце мое
Выдержит и не такое еще,
Только все чаще его колотье
В левое мне ударяет плечо.

Нет, это бабочка в красной пыли
Все еще бьется о сетку сачка...
Матерь, печали мои утоли!

Время уперлось в стенные часы,
Сузился мир до размера зрачка,
Лес — до ресницы, река — до слезы.

В МИНУТУ СЛАБОСТИ

Я вырвалась из общего котла,
Из-под чугунной крышки воспарила.
Несчастливая! Мне разве плохо было
Вариться в темноте и духоте?

Я вырвалась из общего числа,
Расталкивая маленькие числа,
И в одиноком воздухе повисла.
А разве плохо было в тесноте?

— Назад, назад — в котел добра и зла!
Назад — в число! Нет, дорогая, дудки!
Не шутят на Руси такие шутки,
А шутят — повисают в пустоте.

Два брачных бражника, чьи крылья — нервный шелк,
И первый выстрел почки,
И строчка дятлова, и соловьиный щелк,
И дождика звоночки, —

Весна блаженствует: приспели времена
Раскрепощенья духа,
И речь открытая на улице слышна,
Да я уже старуха.

К беззвучным выкрикам, к житью с зажатым ртом
Я привыкала долго,
Беда под силу мне, а радость не в подъем
И уязвимей шелка.

И вдруг кощунственный я задаю вопрос
В час крайнего смятенья:
Голгофу вытерпел, но как Он перенес
Блаженство воскресенья?

Забвенья нету сладкого,
Лишь горькое в груди, —
Защиты жди от слабого,
От сильного не жди.

Такое время адово
На нынешней Руси —
Проси не у богатого,
У бедного проси.

Наглядны все прозрения,
Все истины просты, —
Не у святых прощенья,
У грешников проси.

Какая зима падучая!
Снег падает без конца.
А смерть моя неминуемая
Не открывает лица.

Пришла б и сказала попросту:
Пойдем – за тобой пришла,
Не надо страшиться попусту –
Я, видишь, лицом бела!

И вовсе я не печальная –
Я жизни самой родня,
Ты бабкою повивальнойю
Еще назовешь меня.

Я дам тебе ложе узкое
И елочку в сторожа,
Зато над землею русскою
Твоя запоеет душа,

Стихи твои, дети кровные,
Найдут, наконец, приют
В стране, где снега безмолвные
Слышнее людей живут.

Мой отец – военный врач, –
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
Он за музыку, как пульс,
Нитевидную
Отдал пенсию, клянусь,
Инвалидную.
Он, как видишь, не ловкач –
Орден к ордену,
Но играй ему, скрипач,
Не про родину.

Бредит он вторую ночь
Печью газовой,
— Не пишись еврейкой, дочь, —
Мне наказывал.
Ах, играй, скрипач, играй!
За победою
Пусть ему приснится край
Заповеданный!
За него ль он отдал жизнь
Злую, милую?
Доиграй и помолись
Над могилою.

ЗАЛОЖНИЦА

Я с ужасом твержу: смирись,
Моя душа-заложница,
Уж коли так сложилась жизнь,
Иначе и не сложится!

Есть только право умереть,
А умереть успеется.
Свистит над головою плеть —
Российская метелица.

Но там, где возродилась быль,
Где жизнь творится наново,
Ты обо мне не плачь, Рахиль,
В жилище ханаановом!

Вросла я в почву, словно ель,
А почва многослойная,
Меня не вызовет отсель
Звезда шестиугольная.

Я в русский снег и в русский слог
Вросла — и нету выхода, —
Сама я отдалась в залог
От входа и до выхода!

И душно замятью ночной
Мне под звездой казенною,
И вьется мирный дым печной,
Как будто над газовнею...

И все это было,
И все повторилось опять:
Ты пальцами взбила
Седую, но мягкую прядь.

Но, в зеркало глядя,
Ты видишь отчетливо в нем
Не белые пряди,
А облако с желтым огнем,

И бабочек блики,
И череп электроузла,
И поле клубники,
К которой заря приросла,

Густые задворки,
И важный куриный насест,
И церковь на горке,
И в облако впадный крест,

И даже могилу,
Где трудно поэту не спать...
И все это было,
И все повторится опять.

Вам, друзья мои, вам, дорогие,
Улыбаюсь сквозь слезы вослед:
Вы не бойтесь, друзья, ностальгии —
Есть Исход, эмиграции нет!

Приближаясь к последнему праву
Под землей о земле тосковать,
Больше я никакую державу
Не посмею чужбиной назвать.

Можно ль ждать приглашения к казни
И не рваться в спасительный лаз?
Нет порыва во мне безобразней,
Чем, прощаясь, оплакивать вас.

Уже не думаю о Праве,
Не жду хороших новостей —
Я приготовилась к расправе
Над смуглой Музою моей.

Она еще не в списке узниц
И рук не держит за спиной,
Бредя Москвой по грядкам улиц,
Где снег лежит, как перегной.

Столица дремлет под огромной
Пожухлой облачной ботвой.
Еще не поднят шум погромный
Охотнорядскою братвой,

И Муза говорит покуда
На Достоевском языке,
И брат Иванушка-Иуда
Еще не подошел к щеке —

Серебряного поцелуя
Еще он Музе не нанес,
Еще в России Аллилуйя
Кровавых не глотает слез.

Для своего народа — инородка,
Для матери родной — чужая дочь,
Переживу мучительно и кротко
И эту отлучительницу-ночь.

А ведь бывала так добра ко мне,
Давала силу видеть и пророчить,
Соединив в парадоксальном сне
Овечью дерзость и смиренье волчье.

Три месяца не сплю я напролет,
Как будто бы убила иль украла.
За что же сон меня не признает?
Иль хочет, чтобы мать меня признала
И чтоб своей меня назвал народ?

Я в зеркало гляну, бывало —
По горлу прокатится дрожь, —
Там черная совесть зияла
Моими глазами, и все ж

Покамест опалы и смерти
Страшилась я пуще зеркал,
Глагол, как младенец в конверте,
Дремал и пустышку сосал.

Баюкало снежное поле,
Укачивал южный камыш:
Дремли, да не думай о воле,
Дремли, а не то — угодишь...

И вдруг я забыла о страхе
И ведаю, что меня ждет.
Но горло, готовое к плахе,
Открыто и вольно поет.

Нет-нет и приснится конвойный
И чей-то затылок в строю,
Но утром почти что спокойно
Я зеркалу в очи смотрю.

В мире людном — в доме одиноком —
Раскрываются окна весны,
День сплошным протекает потоком,
Ночь дробится на звезды и сны.

И никто никогда не узнает, —
Не узнает никто никогда,
Чья звезда, как свеча, оплывает,
Чью звезду заливают вода.

А с моей ничего не случится,
И никто никогда не поймет,
Что чужая страна мне не снится,
А родная заснуть не дает.

Влажный слог, намагниченный лад —
Льется дождь, и загадочен сад,
Словно грех первородный.
Плод запретный червив, и ни с кем
Дележа не устрою,
Я одна это яблоко съем
И сознание раздвою,
И отвечу одна. Да и нет
Ни Адама, ни Змия, —
Лишь дождя пузырящийся след
И Россия... Россия...

СЛУЧАЙ

Мне в здешнюю церковь ходить негоже —
И стыдно и не хочу.
Я свечку поставила Матери Божьей —
Задули мою свечу.

Задули за то, что черна глазами,
За то, что лицом смугла,
Задули свечу, а меж тем во храме
Престольная служба шла.

То мимо пройду, то помнись у порога —
А вдруг опять кто-нибудь,
Жестoko печала родившую Бога,
Нагнется свечу задуть?

Молчит дверной звонок и телефонный,
И только чайник дует свой свисток,
На Запад смотрит ветер законный,
А наша кухня смотрит на Восток.

Мы черные чай с тобой гоняем,
И, как ни морщим опытные лбы,
Мы завтрашней судьбы своей не знаем,
Да и вчерашней не пойдем судьбы.

И то учли, что обыски в квартале,
И то учли, что нет в суде суда,
И даже то, что мы с тобой пропали,
Как пропадают письма в никуда.

Но, улыбаясь, моешь ты посуду,
Ты улыбаешься — и ясно мне,
Что точно так припомненному чуду
Младенцы улыбаются во сне.

РИТАЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ

РОССИИ

Проснусь на рассвете, как птица,
начну свой проигранный бой.
Ну, как мне с тобою проститься?
Ну, как мне остаться с тобой?
Не знаю... Ни тонко, ни грубо
такого узла не рассечь.
Горчат иудейские губы,
но сладостна русская речь.

Забуду тебя. И не вспомню.
А вспомню — забуду опять.
Пускай без тебя не легко мне —
но разве с тобой благодать?
Пойдет мое время на убыль,
ударит в упор, как картечь...
Горчат иудейские губы,
хоть сладостна русская речь.

Я помню: мой дедушка плавал,
руками смешно развóдя.
Песок раскалялся, как лава,
и падали капли дождя.
И помню, как дедушка брился —
скрипел о щетину металл.
Я помню, как яростно брынзой
он пиво свое заедал.

Я помню — немного, а помню,
без памяти этой моей,
наверное, было б легко мне,
а может быть, в чем-то трудней.
С неблизкими и дорогими
я шел по дороге земной,
и все, что случилось с другими,
я знаю, случилось со мной...
Нет деда. И я уже старый.
Все вижу, как есть, наяву.
И сам возле Бабьего Яра —
полжизни — так вышло — живу.

Нет, не принадлежу
я к этому народу.
Но я ему служу,
за ним — в огонь и воду!

Нет, не принадлежу
я к этому народу,
но для него сложу
и реквием, и оду!

Нет, не принадлежу
я к этому народу,
но голову сложу
я за его свободу!

И все же ту межу
не одолеть мне сроду:
Нет, не принадлежу
я к этому народу!

Высадились целыми десантами:
отъезжанты стали приезжантами.

Мелкий дождик над Россией сеется:
Боже мой, на что они надеются?

На аэродроме или пристани
вот они стоят и смотрят пристально.

Ну, а может, попросту растерянно...
Сколько километров перемеряно!

Что у них осталось под подошвами?
Разве позабыли они прошлое?

Неужели под чужими ливнями
стали эти беженцы наивными?

Стали эти беженцы бездумными?
Стали эти беженцы безумными?

Мелкий дождик над Россией сеется...
Боже мой, на что они надеются?

Пристанционные акации
тоской прощания полны.
Еще я не был в эмиграции,
а о России сняты сны.
И всех дорог размытых каша
томит предчувствиями бед..
Еще я не уехал, кажется,
а, вижу, ветка машет вслед.

Над землею меркнет солнце,
грязь к моим подошвам липнет...
Кто уедет, тот спасется,
кто останется — погибнет.

Это ясно и придурку,
наступили дни такие.
Вспоминаю Моську, Шурку,
всех, кто жил со мной в России.

Тот — уехал, этот — умер,
я влачу свои вериги:
сто стихов опять придумал,
написал зачем-то книги.

Мне собрать бы чемоданы —
и махнуть на все рукою.
Есть же, есть другие страны,
тянет к воле и покою.

Но душа внезапно всхлипнет
(чисто русское уродство!):
кто спасется — тот погибнет,
кто погибнет — тот спасется!

МАРШ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Н. Школьнику

Вся жизнь, как шарж. Зачем я беспокоюсь?
Мечусь: скорее! А скорей — нельзя.
Под «Марш славянки» трогается поезд,
евреев из России увозя.

Замрет состав на скучном полустанке.
Ах, все пропало! Все исчезло, ах!
Оркестр умолк. Но этот «Марш славянки»
звучит у отъезжающих в ушах.

Затихнут страсти, споры, перебранки.
Другая жизнь. А может, смертный час.
Зачем же снова слышен «Марш Славянки»?
Куда Россия провожает нас?

ЯНВАРЬ 1953

В Сибири высились бараки
для нас с тобой.
Росли в питомниках собаки
для нас с тобой.

Формировались эшелоны
для нас с тобой.
Охрана строилась в колонны
для нас с тобой.

А где-то так же птицы пели,
трава цвела,
и шел народ к неясной цели,
верша дела.

И тяжело легкие стужились
среди тряпья...
А мы бессмысленно стыдились
самих себя.

А мы отчаянно терзались
несуществующей виной
и безнадежно состязались
с судьбой иной.

Ведь мы не верили: ну, слухи,
ну, ерунда...
Доверчивы и легкодухи
почти всегда.

О, эти вечные идеи
и вечный бой!
Жида,
 евреи,
 иудеи,
и мы с тобой.

Лечу над морем Средиземным,
оно и впрямь среди земли.
И оком сладостно-богемным
гляжу: а что же там вдали?

Что нам откроется такое,
чего не ведали еще?
Что сразу душу успокоит
или взволнует горячо?

Нет, невозможна катастрофа,
сквозит спокойно солнца луч.
И голос бога Саваофа
несется из-за близких туч.

И сердце ноет, ноет сладко,
и не страшит конец пути...
И жизни древняя загадка
здесь постигается почти.

Подарил России Бог
дикий холод, свист метели,
чтоб никто спастись не мог
в этой белой канители.

Чтоб никто не мог уйти
от расплаты ненароком...
Водит Бог суровым оком,
все-то видит он почти.

Я не прячусь. Я приму
все в отдельности и разом...
Бог следит суровым глазом,
что-то чудится ему.

Я смотрю, упряма и чист,
и казнюсь чужой виною...
И метели дикий свист
раздается надо мною.

ЮРИЙ БОГОРАД

МИХОЭЛС

1

Никогда сожалеть не устану,
Сколько носит и терпит земля:
Не воздал я почтенья титану,
Не сходил на его «Короля».

Фантазируя, в разные страны
Уносился — в Париж и в Уэльс...
Избегал я театр, как ни странно,
Где играл Соломон Михоэлс.

Непростительной робостью скован,
Редким шансом не дорожил,
Хоть учился в районе Тверского,
И на Бронной приятель мой жил.

2

Не любитель футбола и бокса,
Свежим ветром врывался он в класс.
Вслед за ним я театром увлекся
И дежурил ночами у касс.

Был для нас глубоко ненавистен
Нашей школы тупой каземат,
Где — долбежка сомнительных истин
И контрольных работ
Кутерьма.

Я не стану играть в херувима.
Одуревший от женских телес
Я в ту пору, как Керубино*,
Под любую бы юбку полез.

Но, качаясь на мертвенной зыби,
Я не верил в судьбу и талант...
Честолюбья и секса
Призывы
Раздирали меня пополам.

з

Мы бежали, спасаясь, в театры,
Уподобясь другим москвичам,
И они, точно звезд мириады,
Озаряли мне мир по ночам.

И хотя разбирался я слабо
В пестроте режиссерских систем,
Стал я рыцарем
Древнего клана,
Постановок любых ассистент!

Хоть чуть-чуть, невзавраду, не вовсе
Жажду ярких страстей утоля...
Но не знал я волшебника Вовси**,
Не ходил на его «Короля».

* Персонаж из «Женитьбы Фигаро» (прим. автора)

** Михоэлс — сценический псевдоним Вовси (прим. автора)

4

Для кого он, бедняга, старался,
Создавал свой еврейский Парнас,
Если юдобоязнь, как зараза,
Незаметно закралась и в нас?

На карьеры наложено вето,
Хоть обратно в утробу просись.
Мой отец (из смоленского гетто)
Даже идиш забыл свой,
Марксист!

О, теперь бы я выучил идиш,
И на «Лира» — как в собственный дом,
Потому, что отчетливей видишь,
Что скрывалось тогда за стыдом.

5

Полыхала пожаром отчизна,
По ночам не темнел горизонт,
Но тлетворные ветры расизма
Проникали легко через фронт.

Не без ниточки, дергавшей сверху,
(Ребятишки! Пускай пошालят)
Подвергался арийской проверке
На еврея похожий школяр.

Били в морду и — номер коронный —
Оголить предлагали мне пах...
И чертог чародея на Бронной
Для меня униженьями пах!

Я молчал о своем первородстве,
Я стеснялся его, как греха,
И зачем-то искал на морозце
Только русские формы стиха.

Про мою былую никчемность
Недостаточен материал?
Обходя еврейских девчонок,
На арийку я время терял.

Лишь устав
От провалов беситься,
Стал — под занавес — я понимать:
Век аид я
Для наших спесивцев,
Несмотря на славянскую мать!

Я не бегал на Михоэлса,
Не свернул я с накатанных рельс...
А пока не спеша осмотрелся —
В лучший мир
Угодил Михоэлс!

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Во время шкуровских погромов
в Воронеже семья Раевских
прятала в своем доме еврейских
детей. Надевали им на шею
крестики: крещеных бандиты
не трогали.

*Из рассказа моей матери
Е. М. Раевской*

Отдам еврею крест нательный,
Спасу его от злых людей...
Я сам в печали беспредельной
Такой же бедный иудей.

Судьбою с детства не лелеем
За неизвестные грехи,
Я мог бы вправду быть евреем,
Я мог бы так писать стихи:

По дорогой моей равнине,
Рукой качая лебеду,
С мечтой о дальней Палестине
Тропой российской иду.

Иду один, как в поле ветер.
Моих друзей давно уж нет.
А жизнь прошла,
И не заметил.
Остался только тихий свет.

Холодный свет от белой рощи
И дальний синий полумрак...
А жить-то надо было проще,
Совсем не так, совсем не так...

Но эту горестную память
И эту старую повесть
Нельзя забыть, нельзя оставить,
Осталось только умереть.

А в роще слышится осина.
А в небе светится звезда...
Прости, родная Палестина.
Я не приеду никогда.

ЯКОВ ЗУГМАН

На этой земле не воюют с быком,
Не носят ножей напоказ.
Спокойно, как раньше граненым штыком,
Владеют ракетой сейчас.

Беззлобно и просто за землю свою
Привыкли стоять до конца,
Но лишней кровинки не тронет в бою
Скупая жестокость бойца.

В войне выходящая из берегов,
До вражьих столиц доходя,
Россия, ты жить оставляла врагов
И пленных кормила, щадя.

Так что ж я не вижу печали твоей?
Не смею я зло поминать,
Но сколько невинных своих сыновей
Сгубила, как пьяная мать...

И все же у каждого в сердце болишь,
Судить я тебя не берусь.
В последнем пропойце не пропито лишь
Уменье погибнуть за Русь.

Затем и спокойна, что этот народ —
Скажи только слово: — В ружье!..
Морозом восторга по коже дерет
От веры в бессмертье твое.

РУССКОМУ

Полускиф и полутатарин,
Самый рослый в семье славян,
Ты по-царски неблагодарен,
Ты по-детски беспечно пьян.
И доволен своим уделом —
От Тюмени до целины —
Как ты землю свою уделал!
Поглядел бы со стороны!..
От Америки и до Азии
Ты расставил свои посты,
Чтобы в щик тебе не залазили, —
Не заметили б, что пусты!
Все победой живешь вчерашней,
Только — господи, сохрани! —
Как земле тяжело и страшно
От несметной твоей брони!
Сто грехов твоих и пороков
Во все стороны, что рожны!
Но не нужно тебе пророков,
Лишь кумиры тебе нужны.
Не сберег ты даже Есенина,
А уж он ли тебе не свой!
...Долго ль будет ангел спасения
Вить круги над твоей головой?..

ВЛАДИМИР МОЩЕНКО

Что ни делай, что ни говори я –
Каждый день я думаю о вас,
Мои внучки, Анна и Мария,
О библейских звездах ваших глаз.

Не сгуби их, матушка Расея,
И пойми, где даль времен, где близь:
Вел Господь в пустыни Моисея,
Чтоб Мария с Анной родились.

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР

*(Отрывок из поэмы
«Прощание с Магистратской улицей»)*

Сентябрь сорок третьего солнечным был.
Везли мы с вокзала пожитки на тачке
И в детской коляске. Я видел кругом
Патронные гильзы, осколки, воронки,
Останки орудий, машин, мотоциклов.
И чувствовал запах – чужой до удушья.
В те дни постоянно я видел во сне
Наш дом, а вернее – руины, в которых
Валялись шприцы, костыли, стетоскопы,
Повязки из гипса, хранившие форму
Тех рук, что стреляли в детей и старух,
Тех ног, что упавших на землю топтали.
На улицу я. Только что это? Боже!

...Губная гармошка грустила о Герде,
Но рыжеволосой рукою фельдфебель,
Стараясь играть погрустнее, обלאпил
Грудастую ушлую Надьку Шевчук.
Как видно, одно не мешало другому.
Грустила гармошка об Одере милом
О муттер, совсем поседевшей, о том,
Что Вагнер шепнул на рассвете Изольде
(А Собинов пел Лоэнгрину — я помнил...)
Так вот что... Здесь немцы! А рядом Борис,
Братишка мой младший, голодный такой.
Ну как же спастись? И кричу я Борису:
«А ну-ка, чеши! Убирайся отсюда!
Я светловолосый, ты черноволосый.
Я русский. А ты? Ты не русский. Ты жид.
Давай-ка, чеши, а не то попадемся
И в гетто отправимся оба. Пошел!»
Тут стихла гармоника. Нас окружили.
Нацелены в грудь автоматы. Каюк.
В карьере, где камни вода обступила,
Мы вдруг очутились. Братишка, прости!
Все то, чем дышал я, отравлено ядом.
Я тоже учился у Надьки Шевчук.
Борис, Магистратская улица знает,
Что я пионерчик, трусливый пацан.
Она не ушла партизанить. Она
Опять и опять ради собственной шкуры
Гнусавит: «Паночки, так мы не жиды.
Пархатые — вон они, в дому напротив.
Заметите сразу: там скрипка играет...»
Гестаповцы даром патронов не тратят.
Ты слышишь? Ты слышишь, как нас отрезают
От солнца и воздуха? Слышишь, Борис?

Последний рядок кирпичей — и готово,
И мы замурованы... Время пройдет —
Табличка появится в недрах карьера.
Скупые слова. Огонечек. Веночек.
Но это — потом. А сейчас... Что сказать?
И мрак. И молитвы. И даже проклятья.
На идиш. По-русски. И по-украински.
И в голосе каждом — извечная скорбь.
Смотри-ка: вот вспыхнула спичка. Другая.
Потом зажигалка разрешила тьму.
И я увидел на секунду такое,
О чем до сих пор позабыть не могу.
Девчущечка вместо того, чтоб всей грудью
Вдохнуть кислород напоследок, руками
Зажала свой рот, словно газ был вокруг.
А подле девчущки, уже полумертвой,
Стоял на коленях горбатый старик.
И бороды, бороды... Сколько бород!
Сегодня евреев не будет в Бахмуте.
Кончается воздух. Дышать невозможно.
И надо проснуться. Скорее! Скорее!

ПО ПУТИ В СОЦГОРОДОК

Вот ветер был за Джезказганом!
Мы с мамой шли в соцгородок.
И в этом воздухе стеклянном
Уже я двигаться не мог.

И вьюга мне глаза колола
И люто била по ногам.
А в это время наша школа
В тепле читала по слогам.

Я стал почти что как ледышка.
Вокруг синё. Хоть волком вой.
И вдруг я вижу: рядом — вышка,
На ней — в тулупе часовой.

Он закричал: «А ну, отрав! —
Погибель ищешь пацану?
С дороги повертай направо.
Давай скорей, не то пальну».

И тут раздался голос зека:
«Ведь там сугробы, душегуб!»
У пожилого человека
Чернели корки вместо губ.

Он был похож на Мандельштама —
Я понял двадцать лет спустя:
Он шел к гибели упрямо,
Неосторожный, как дитя.

Стоял он около подвала.
И свирепел собачий лай.
А мама тоже так устала.
И крикнула: «Ну, что ж, стреляй!»

Михаилу Мильману

Вот квинтет играет Баха в синагоге.
Это — страсти, это — голос твой, Матфей.
Музыкант от Бога думает о Боге,
Безразлично, кто он — немец ли, еврей.

Воздух становился музыкою Баха
Там, где обрывался выстрелами смех,
Там, где, обернувшись горсточкою праха,
Медленно мы падали, Господи, на снег.

Что с виолончелью? Заблудилась где-то.
Звук безумно близок, ибо так далек,
Будто лютый холод и руины гетто,
Будто улетающий в небеса дымок.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

Багульник, ельник, изволоки, взгорья...
Грибная, волчья да медвежья дебрь.
И вдруг – виденья Средиземноморья:
маслина, кипарис, ливанский кедр.

В глухих лесах, холодных, хмурых, хищных,
метель метет и долго ждать весны,
но ветви пальм, плоды смоковниц пышных
художникам и книжникам видны.

Из северных, из необжитых ширей,
из узких келий очи их глядят
в волшебную страну, в блаженный ирей,
куда под осень птицы улетят.

И словно отсветом тех светлых высей,
тех райских стран, той дивной красоты
сияют и Рублев, и Дионисий,
и Нестерова светлые холсты.

Виденье отроку Варфоломею –
бессолнечная северная Русь,
но что-то вдруг напомнит Иудею
или о ней несбыточную грусть.

НЕМКА

«Убей, — в плакате было, — немца!»
Да, немца. Коротко и прямо.
Здесь ненависть имела место.
И ненависть имела право.

А ночью ветер выл по-волчьи
и по деревне волки рыскали.
Девчонка, немка из Поволжья,
училась вместе с нами, русскими.

Она сидела и ходила
и даже глаз не отводила.
Она глядела как хотела
и, видно, этим убедила.

Она с достоинством держалась
спокойной строгости немецкой —
и даже маленькая шалость
вдруг ощущалась неуместной.

Мы мало думали над этим
особенным авторитетом:
в сорок втором и сорок третьем
мы были во втором и третьем.

Я оценил ее позднее,
когда мальчишки, став подростками,
заметили во мне еврея,
учившегося с ними, русскими.

Обида по щекам хлестала...
Но с детства в душу мне запало:
какую косу заплетала!
Какою поступью ступала!

Ах, Яша Гиндин, Яша Гиндин!
И Лермонтов, его поэт!
И Яша!.. В нем был гений виден
в его неполных девять лет.

Явился, маленький Мессия,
в сорок второй военный год
и возвестил мне, что Россия —
«страна рабов, страна господ».

Я с ним гулял среди природы,
она полна ушей и глаз,
но никакие патриоты
здесь не подстерегали нас.

Мы были за хребтом Урала,
в трех километрах от села,
и кара нас не настигала,
лишь истина нам душу жгла.

И лермонтовское прозреньё,
которое он толковал,
тем было яростней, тем злее,
что рушилось в пустой провал.

Там — те, стоящие у трона,
и тот, что занял трон царей,
а здесь — будто во время оно
пророчествующий еврей.

Вечнохудой, вечноголодный,
в чем только держится душа, —
ах, Яша-друг! Под костью лобной
звезда светящая взошла!

Потом, потом придет возмездье:
огонь горячки мозговой...
А я-то думал: будем вместе!..
А я-то думал: мы с тобой!..

Чуть задернованная супесь
ползет с обрыва по кускам.
Деревья вниз глядят насупясь.
Тростник сухой по берегам.

И пляшут волны за буксиром
под жалобный напев гудка.
А небо над невзрачным миром –
бледней снятого молока...

Не расслонявленным словечком –
ядренным словом, если б мог,
я рассказал бы этим речкам,
плетням, калиткам и крылечкам,
горшкам, ухватам, русским печкам,
о том, как в сердце их берег.

О той любви неразделенной,
с огнем непонятым в очах,
когда встречаешь изумленный
и провожаешь, промолчав.

Как тот художник, сын раввина,
влюбившийся непоправимо,
о ком земля теперь тужит,
когда он мертвый в ней лежит.

СМЕШАННЫЙ БРАК

«Тех, кто в смешанном браке, не будут трогать», —
утешал отец. Речь шла о поляках.

Мать сидела в те дни, ожидая сроков.

Я не спрашивал смысла, запомнил впрок их,
восемь слов, подслушанных, полупонятных.

Обошлось: не трогали в Ленинграде.

Маму, польку из Гатчины, не сослали.

Вы, поляки, простите мне, бога ради,
что в годину бедствий я был не с вами.

«Тех, кто в смешанном браке, не будут трогать», —
утешала мать. Речь шла о евреях.

Мой отец сидел, ожидая сроков
и почти торопя: скорее б, скорее б.

Обошлось, не выслали: умер Сталин,

и не тронули с места Шацев и Кацев.

(А потом, глядишь, потихоньку стали
возвращать калмыков и часть кавказцев).

Так вот жил я, рожденный в смешанном браке,
что еврея и польку связал друг с другом.

И во мне, еврее, во мне, поляке,
человек был дважды грубо поруган.

Да, но шкура сошла с меня носорожья,

и чужие несчастья мне не чужие,

я — татарин крымский, немец Поволжья,

армянин из Баку, но и турок тоже,

соплеменник всех, кто живут и жили.

И двойная рана моих сознаний
кровоточит предчувствиями и снами:
их сослали, так, стало быть, нас сослали,
все, что с ними случилось, случилось с нами.

Люди! Что ж вы не видите брата в брате?
Он — такой же самый, такой, как все вы,
он, рожденный в том же смешанном браке,
злополучном браке Адама с Евой.

ДЯДЯ И ТЕТКА

«...в Едеме на востоке...»

А дядя и тетка в уютном живут городке,
какие бывали когда-нибудь в давнее время.
Купаются в море и просто лежат на песке,
тела пожилые под ласковым солнышком грея.

Все та же квартира, в которой и жили они,
и гости все те же на дядины к ним дни рожденья
(а я-то считал, что из всех, и гостей, и родни,
осталось лишь наше, стареющее поколень!).
Сидим за обедом. Обычный, не праздничный день,
и нет никого, мы беседуем неторопливо
о будничной жизни давно здесь живущих людей.
И слышится шум отдаленный — прибоя? прилива?

Мы только вернулись, до берега моря пройдясь,
и дядя поплавал, а я окупался два раза...
Здесь очень похоже на Зеленогорск, на Бердянск,
на пярнуский пляж, но — южнее... южнее гораздо...

Мой дядя — на пенсии, он здесь не лечит больных, никто не болеет, ни стенокардий, ни инфарктов. Я только приехал. Привыкну к тому, что у них. Немало тут странных, науке неведомых фактов.

— Как здесь хорошо! — говорю я. — Не то что у нас!
— Конечно! Особенно — для пожилого еврея! — кивает мне дядя...

Но Крым это или Кавказ?
А может, восточнее где-то?.. Южнее?.. Древнее?..

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

Израиль Борисович Гутчин
и в юности не был могучим,
но грудь ободрал о стволы
и хвойных накушался игол,
когда с парашютом он прыгал
во вражеские тылы.

Потом оказался он в нетях,
ненужный властям кибернетик,
не очень-то, в общем, в цене.
Вот бывших солдат безоружность —
ненужность, ненужность, ненужность
в спасенной их кровью стране.

Потом на машинке начпокал
десяток брошюр научпопных,
но было стране все равно.
Помог записать мемуары
стареющей царственно Лары
и жаждал хоть крохотной кары,
да все диссидентские нары
заполнены были давно.

И, может быть, от перекрута
простреленных некогда строп
он прыгнул, но без парашюта,
в Америку, на небоскреб.
Да где небоскреб? — Небоскребик
в одиннадцать лишь этажей,
но здесь, в квартиреночках скромных
жив дух фронтовых блиндажей.

Для бывших солдат и матросов
последний окоп — в США.

Про камень заветный Утесов
поет с хрипотцой, не спеша.
И есть на одной этажерке
внутри позабывшихся строк
билет на концерт Евтушенки,
как оттепели лепесток.

Еще мы не все отстрадали,
но в этих совсем не дворцах
звонят за победу медали
на стольких разбитых сердцах.

Бойцов эмигрантских дивизий
всем Гарвардам не подсчитать.
Крик женский: «Ну где же ты, Изя?
Неужто на крыше опять?»

На крыше, закутанной в тучи,
стоит, никого не вина,
Израиль Борисович Гутчин —
спаситель страны и меня.

Как будто предчувствие терзает —
что небо ракеты прошьют
и что из лесов партизанских
за ним прилетит парашют...

ИЗРАИЛЬСКАЯ РОССИЯ

*Во время моих выступлений в Израиле
меня чаще всего просили почитать вовсе
не «Бабий Яр», а «Идут белые снега»*

Есть израильская Россия.
В ней выводят куда-то в когда-то
на Плющиху и Невский кривые
переулочки древнего Цфата.

Да и улицы Назарета,
Беер Шевы и Кармиэля
вроде русского лазарета,
где и Пушкин, и Блок уцелели.

Здесь, бульварами Тель-Авива,
эмигрировав полусчастливо,
бродит с палочкой пенсионера
призрак маленького СССРа.

Их в почти позабытое время
называли когда-то: «евреи»,
ну а здесь — вдалеке от России —
сразу «русскими» их окрестили.

Та израильская Россия
тоже квасит капусту в кадушке
и медали свои боевые
начищает к посмертной подушке.

Из Джамбула и Белой Церкви
старики, свои шекели стиснув,
выручают, идя на концерты,
из российской России артистов.

И поэту из их «когда-то»
(в том «когда-то» мальчишке с прыщами)
тянут книжечки, взятые свято
в их багаж немудреный, прощальный.

Эх, израильская Россия...
Тебе хочется не впервые
к той России — не тельавивской —
прыгнуть, чтобы помочь, — в телевизор...

Если здесь небоольшенькая вьюга,
снег походит на школьного друга,
и летит над Иерусалимом
снег, нечаянно ставший олимом...

НИНА КОРОЛЕВА

– Уезжаешь, родной? Отчего, от кого?
– Я еврей, перекаати-поле.
– А в России совсем ничего твоего?
– Мне досталась чужая доля.
Я ее не живу, я ее волочу,
А зовусь — «жидовская морда».
Я был русским, а я
Быть евреем хочу,
Это тоже звучит гордо.

Я тебя уважаю, хороший мой.
Поезжай и живи иначе.
Я тебя провожаю — к тебе домой,
Я над жизнью своей плачу.

ВЛАДИМИР ЛЕВИНЗОН

Эта рана не закрылась,
Эту тяжесть не сложить.
Здесь родился ты и вырос,
Здесь любить тебе и жить.

Все кругом свое, родное,
Кроме малости одной:
Для себя оно родное,
Только сам как не родной.

И тепло тебе и сытно,
Только сиротно душой:
Вроде пасынка, не сына,
Ты у матери чужой.

И растит, да не голубит,
И простит, да не полюбит.
И накормит, да не впрок —
В горле станет поперек.

Чем ты лучше и добрее,
Чем ты большего достиг, —
Ей не радость, а, скорее,
Как обида за своих.

И живешь в стране родимой,
Как ребенок нелюбимый,
За невидимой чертой.
За чертой непроходимой,
Как судьба, неотвратимой,
Незапамятной чертой...

ОБЛАВА

Вспоминаю сорок третий
Под завесой дымовой.
Хоть бы кто из школы встретил,
Проводил меня домой.

Деревянные домишки
На окраине Перми,
Уплотненные в излишке
Подселенными людьми.

От бомбежек, от блокады,
Словно целая орда,
Из Москвы и Ленинграда
Набежало нас сюда.

А на фронте что творится —
Наши в шею гонят фрица.
Я бы тоже гадов бил,
Если б старше только был.

За оградю колючей
Там людей фашисты мучат.
Там — война, окопы, враг.
Здесь — и горы, и овраг.

Он глубокий, как ущелье,
По бокам — обрыв крутой.
Вдоль оврага возвращенье —
Путь единственный домой.

Не хочу туда идти —
Знаю, что на полпути:
Там готовится забава,
Там в засаде пацанье —
На меня идет облава,
Не спасешься от нее.

Потому что от рожденья,
Как на белой на стене,
Все мое происхожденье
Как написано на мне.

Надают в бока и в спину,
Если я не убегу:
Шапку скинут, в ухо двинут,
Изваляют на снегу.

А того еще страшнее,
Что тетрадки изорвут.
А всего того стыднее —
Как меня они зовут.

Разве скажешь, как обидно,
Как за горло душит стыд —
Не поймете вы, как стыдно,
Хуже «вора» это «жид».

Поглядеть из-за угла бы,
Где прорваться из облавы?
Я из школы не пойду,
Лучше в школе пережду.

Неохота с ней прощаться,
За порог переступить.
Неохота возвращаться,
Неохота больше жить.

Хоть бы кто сегодня встретил —
На работе все давно.
...Вспоминаю сорок третий,
Не забуду все равно.

Пробираюсь по сараям
И не знаю, чья вина.
А войне не видно края,
Продолжается война.

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

ИЗ ЦИКЛА «ХАВА НАГИЛА»

Я говорю на языке чужом,
Я знаю, что богат он и прекрасен,
И он, чужой, мне служит маяком,
И я ему с рождения подвластен.

Я рос в стране морозов и берез,
Распутиц, и распутниц, и злодеев,
Где над народом властвовал наркоз
Покорности царям и мавзолеям.

Но где-то есть сияющий Сион,
Иерусалим с неумолимым Ягве,
А я сижу, пишу российским ямбом
И таинством звучанья покорен.

Родной язык, ты от меня далек
На тысячу и тысячу столетий,
Но дух еврейства в сердце проистек
Сквозь баррикады русских междометий.

Дух и язык, о как вас совместить
Поэтам русским, но в душе евреям?
На языке чужом нам говорить,
Но кровь пролить, подобно Макковеям.

ПАСХАЛЬНОЕ

Гори же, гори, семисвечник,
Гори, согревай, как извечно,
Над жизнью, как льдинка, непрочной,
Гори, моей силы источник.

Капели, капели, капели,
В России седьмое апреля.
Беременны ранней весной,
Плывут облака над Москвою.

А где-то, арабами сбитый,
Родною землею прикрытый,
С горячей израильской ночью
Обнялся израильский летчик.

Вчерашний мальчишка из Тулы,
Простреленный тульской пулей.
Гори же, гори, семисвечник,
Гори, согревай, как извечно.

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

Повисни надо мной, повисни,
След самолета, белый след,
Как веточка днепровской вишни,
Знакомая мне с детских лет.

Седая дымчатая трасса
Над родиной моей пройдет,
Над тихой родиной Тараса,
Где вишня белая цветет.

Но эта белизна не на год:
Сойдет с деревьев белый цвет,
Для небольших и сочных ягод
Он станет красным, белый цвет.

И все заполонит базары
Его живое естество.
И никакой на свете тары
Уже не хватит для него.

Благословенно будь рожденье
Плодов, народов, облаков...
Пусть варят женщины варенье
Всю ночь до первых петухов.

И красный цвет шумит пожаром,
Другим цветам всем вопреки!

...Красны пески над Бабьим Яром,
А были белые пески.

ИСХОД
(Шереметьево – 2)

Не говори, я помню этот путь,
Прозрачность дней, угрюмой ночи муть,
Прожектор, что взлетал из подземелья,
Пока в три стороны тянули воз,
И в бедном сердце не хватало слез,
Как в бедном доме водки для похмелья.

Петр Шереметьев или же Борис,
Из ада – вверх, из рая – гляньте вниз:
Что мы творим сейчас на вашем поле,
Каких веков легко зорим казну,
Ко смерти отходя или ко сну
Судьбы своей, точней сказать, недоли.

Бог собирает, но транжирит черт,
И кровь земли уходит из аорт,
А самолет, взлетев, теряет силу
Там, на скрещенье взлетных двух полос,
Где хорошо архангелу спалось,
Не знаю, – Михаилу, Гавриилу...

Не все ль равно, возвала чья труба
К стране, в которой нету нераба,
И горьким пламенем горит обида?
Кому невоготу, кому – лафа,
Пока есть ложь и пятая графа,
И гнет чинуш, и страх, что хуже спида.

Я вслушивался в голоса людей,
Не зная, эллин кто, кто иудей,
Но зная, что их разлучать жестоко.
И можно ли сказать наверняка,
Склонившись к устью, чем сильна река —
Водой притока или же истока?

Чтоб улететь на Запад или Юг,
Над полем самолеты чертят круг,
И этот круг, увы, стократ повторен.
На свежем пне так тесно от колец,
Что не сочтешь... Но в нем сокрыт конец
Ствола и кроны, и лесов, и зерен.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

НЯНЯ ТАНЯ

Хоронят няню. Бедный храм сусальный
В поселке Вырица. Как говорится, лепость —
Картинки про Христа и Магдалину —
Эль фреско по фанере. Летний день.
Не то что летний — теплый. Бабье лето.
Начало сентября... В гробу лежит
Татьяна Саввишна Антонова — она
Приехала в тридцатом из деревни,
Поскольку год назад ее сословье
На чурки распилили и сожгли,
А пепел вывезли на дикий север.
Не знаю, чем ее семья владела,
Но, кажется, и лавкой и землей,
И батраки бывали. Словом, это
Типичное кулачество, я сам,
Введенный в классовое пониманье,
В четвертом классе понимал, что это
Есть историческая неизбежность
И справедливо в Самом Высшем Смысле:
Где рубят лес, там щепочки летят...
А я уже студентик Техноложки.
Мне двадцать лет, в руках горит свеча.
Потом прощанье. Мелкий гроб наряжен.
На лбу у няни белая бумажка,
И надо мне ее поцеловать.
И я целую. ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ!
И тихим-тихим полулунным днем
Идут на кладбище четыре человека:
Я, мама, нянина подружка Нюра
И нянин брат двоюродный Сергей.

У няни нет прямых ветвей и сучьев,
Поскольку все обрублены. Ее
Законный муж — строитель Беломора
Погиб от невнимательной работы
С зарядом динамита. Старший сын
Расстрелян посреди годов двадцатых
За бандитизм. Он вышел с топором
На инкассатора, убил, забрал кошелку
С деньгами, прятался в Москве
На Красной Пресне. Пойман и расстрелян.
И даже карточки его
У няни почему-то не осталось.
Другое дело младший — Тимофей,
Он был любимым и примерным сыном.
И даже я сквозь темноту рассудка
В начале памяти могу его припомнить,
Он приезжал и спал у нас на кухне,
Матросом плавал на речных судах.
Потом война. Война его и няню
Застала летом в родовой деревне
В Смоленской области. Подробностей не знаю.
Но Тимофей возил в леса муку,
И партизаны этим хлебом жили.
А старший нянин брат родной, Иван,
Был старостой села.
Он выдал Тимофея, сам отвез
За двадцать километров в полевую
Полицию, и Тимофея там
Без лишних разговоров расстреляли.
А в сорок третьем няню увезли
Куда-то под Эйлау в плен германский.
Она работала в коровнике (она
И раньше о своих коровах вспоминала,
Отобранных для общей пользы).
А дочь единственная няни Тани

И внучка Валечка лежат на Пискаревском,
Поскольку оставались в Ленинграде:
Зима сорок второго — вот и все!
Что помню я? Большую коммуналку
На берегу Фонтанки — три окна зеркальные,
Юсуповский дворец (не главный, что на Мойке,
А другой), стоявший в этих окнах,
Няню Таню. А я был болен бронхиальной астмой.
Кто знает — что это такое? Только мы —
Астматики. Вот так-то!
О, как она меня жалела, как
Металась. Начинался приступ,
Я задыхался, кашлял и сипел,
Слюна вожжой бежала на подушку.
Сидела няня, не смыкая глаз, и ночь,
И две, и три, и сколько надо,
Меняла мне горчичники, носила
Горшки и смоченные полотенца.
Раскуривала трубку с астматолом,
И плакала, и что-то говорила.
Молилась на иконку Николая
Из Мир Ликийских — чудотворец он.

.....

И вот она лежит внизу, в могиле —
А я стою на краешке земли.
Что ж, няня Таня? Няня,
ДО СВИДАНЬЯ.
УВИДИМСЯ. Я все тебе скажу.
Что ты была права, что ты меня
Всему для этой жизни обучила:
Во-первых, долгой памяти, затем
Терпению и русскому беспутству,
Что для еврея явно высший балл,
Поскольку Розанов давно заметил,

Как наши крови — молоко с водой —
Неразделимо могут совмещаться.

.....

Лет десять будет крест стоять как раз
У самой кромки кладбища,
Последний в своем ряду.
Потом уеду я в Москву и на Камчатку,
В Узбекистан, Прибалтику, Одессу.
Когда вернусь, то не найду креста.
Но все это потом. А в этот день
Стоит сентябрьский перегар, и пахнет
Пылью и яблоками, краской
От оград кладбищенских.
ТАК ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ. Спи, пока
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
Не заиграл побудку над землей
Американской, русской и еврейской...

ПАМЯТИ ВИТЕБСКОГО КАНАЛА В ЛЕНИНГРАДЕ

А. Кушнеру

Здесь был канал. Последний раз я видел
лет шесть назад, смешавшийся с рекой.
Зловонный, липкий, словно отравитель,
циан расположивший под рукой.

В послевоенных сумерках мелькая,
его волна катила времена,
и мелкая, но, в сущности, рябая,
она в Фонтанку падала до дна.

Она была настолько тяжелее
чужой воды, и, верно, был резон
зарыть канал; но я его жалею,
и для меня не высыхает он.

Сюда от Царскосельского вокзала
я приходил; мне помнится вокзал,
я пропускал трамваи, как раззява,
канала никогда не пропускал.

Над ним электростанция дымила,
морская академия жила,
и все, что было мило и неило,
его вода навеки унесла.

Весь этот век, когда мы победили,
всю эту жизнь, что проиграли мы,
прожекторы, которые светили
на лозунги среди глухой зимы.

В ночном бушлате, бутсах и обмотках
курсанты погружались в катера,
и карабины брякали на скобках
на этих сходках в пять часов утра.

Я это видел сам и не забуду,
меня война сгубила и спасла.
Она со мной и мой канал – покуда
я жив еще, до смертного числа.

Закопан, утрамбован по уставу,
и все-таки на свете одному
дай мне воды запить мою отраву,
канал, как Стикс впадающий в Неву.

Мутно марево. Дали нечетки,
за вагоном глухие снега.
Но великое зреньё ночевки
покидая, стою у окна.

Фонари неприкаянных станций,
неприступные тени лесов
отлетают, как души в пространстве,
набегают, как стрелки часов.

И чем дальше, тем большую ясность
открывает последняя даль —
никогда не проходит опасность,
никуда не уходит печаль.

Все, что есть между тьмою и тьмою, —
только зрение, только окно,
и оно неразлучно с тобою,
но тебе под залог вручено.

И уже не вернешь, не расторгнешь,
погибая в экспрессе ночном;
обрывая под пломбою тормоз,
ты останешься перед окном.

Я покинул чужие святыни
и последние крохи свои,
чтобы видеть глазами пустыми
обе стороны у колеи.

МОНАСТЫРЬ

Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!

Н. М. Языков

За станцией «Сокольники», где магазин мясной
И кладбище раскольников,
был монастырь мужской.

Руина и твердыня, развалина, гнилье —
В двадцатые пустили строенье под жильё.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать.
Зачем я переехал, не стану объяснять.
Там газовые плиты стояли у дверей.
Я был во всей квартире единственный еврей.
Шел коридор верстою, и сорок человек,
Как улицей Тверскою, ходили целый день.
Там жили инвалиды, ночные сторожа,
И было от пол-литры так близко до ножа.
И все-таки при этом, когда она могла,
С участием и приветом там наша жизнь текла.
Там зазывали в гости, делилися рублем,
Там были сплетни, козни,

как в обществе любом.

Но было состраданье, не холили обид...
Напротив жил Адамов, хитрющий инвалид.
Стучал он рано утром мне в стенку костылем,
Входил, обрубком шарил

под письменным столом,

Где я держал посуду кефира и вина, —
Бутылку на анализ просил он у меня.
И я давал бутылки и мелочь иногда.

И уходил Адамов. А рядом занята
Рассортировкой семги, надкушенных котлет,
Закусок и ватрушек, в неполных двадцать лет
Официантка Зоя, мать темных близнецов.
За нею жил расстрига Георгий Одинцов.
Служил он в гардеробе издательства Гослит
И был в литературе изрядно знаменит.
Он Шолохова видел, он Пастернака знал,
Он с Нобелевских премий на водку получал,
Он Юрию Олеше галоши подавал.
Но я-то знал: он тайно крестил и отпевал.
Но дело не в соседях, типаж тут ни при чем, —
Кто эту жизнь отведаль, тот знает, что — почем.
Почем бутылка водки и чистенький гальюн,
А то, что люди волки, сказал латинский лгун.
Они не волки. Что же? Я не пойму, Бог вещь.
Но я бы мог такие свидетельства привезть,
Что обломал бы зубы и лучший богослов.
И все-таки спасибо за все — за хлеб и кров
Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпенью и душу каменит,
Кто учит просто пенью и пенью аонид,
Тому, кто посылает нам дом или развал
И дальше посылает белоголовый вал.

*ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ*

Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка,
среди охтенских суглинков, у будки сторожей.
Цветник их отбортован и утрамбован гладко,
поскольку я здесь не был сто лет — и он ничей.

В свой срок переселились с безумной Украины
они, прельстившись нэпом, кроить и торговать,
под петроградским небом купили половину
двухкомнатной квартиры и стали проживать.
Гремит машинка «зингер», Зиновьев пишет письма,
мой дед торгует платьем в Апраксином ряду
и, словно по старинке, пирожные в корзинке
приносит по субботам, с налогами в ладу.
А жизнь идет торопко — от бани до газеты,
от корюшки весенней до елочных шаров.
Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка,
футболка да винтовка — и пионер готов.
И все это отрада — встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
а ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР».
А дед и бабка рады — начальство шьет наряды,
приносит сыр и шпроты, ликер «Абрикотин»,
границы на запоре, и начеку отряды,
и есть кинотеатры для звуковых картин.
А дальше все как надо — обида и блокада,
и деда перевозят по Ладоге зимой,
и даже Немезида ни в чем не виновата,
она лишь секретарша. О боже, боже мой!
Теперь в глубоком царстве они живут, как могут,
Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед.
И кто кого под нозоть, и кто кого за локоть —
об этом знает только подземный ленсовет.
А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
за все ответят тени, забвенья шевеля.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Как жизнь перегородчата, я понял,
когда уже спускался вниз в долину,
и, словно при ремонте капитальном,
вдруг падали фанерные заслонки,
и открывался план первоначальный,
по коему и строили квартиру.
И становилось все так очевидно...
Еврейский мальчик, сызмала отличник,
насобиравший сто похвальных грамот
и кавалер серебряной медали,
способный, умница, любимец деканата,
уже отпивший мутного портвейна
хрущевской оттепели,
сочинитель легких
и нервно молодых стихотворений,
где размещались кровосгустки джаза
на ленинградской мертвенной водице,
где западные узкие наклейки
перешивались на шевьот советский,
но вовсе не стихами, а стежками
суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась.
Такой вот мальчик вытащил однажды
из колеса зачуханной фортуны
особый жребий. Этот жребий был
чернильно выведен на бланке Ленгорсправки:
«Ул. Красной Конницы...», а дальше только цифры.
Он дверь нашел, и все переменялось.

.....

Как страшно приближаться к русской музе,
высокой, располневшей после трех
инфарктов, той, что диктовала и «Бога»,
и «Пророка», «Недоноска», «Трилистник в парке».

Она сама себе под нос бормочет
наиновейшие стихотворенья,
она протягивает руку к вам,
увядшую, но женственную руку.
И тяжело пожатье и всесильно.
Она вам предлагает стул и чашку
кирпичного бессоннейшего чая.
Вот сахарница, бедный рафинад,
так подсластите первую отраву
и сделайте глоток – теперь уже
она вас никогда не пожалеет.

ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ

Открываю шторы –
Октября второе.
Рассветает. Что вы
Сделали со мною?
Темная измена,
Пылкая зарница?
«Оставайся, Женя», –
Шепчет заграница.
Был я семиклассник,
Был полузащитник,
Людам – однокашник,
Чепухи зачинщик.
Был я инженером,
Все мы – инженеры.
Стал я легковуером
Самой тяжкой веры.
Фонари темнеют,
Душу вынимают,
Все они умеют,
Но не понимают.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!

Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.

Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо
Продолговатой.

Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.

И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как выппел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.

Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.

1974 ГОД

В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели. Италия, прощай!

Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завернутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильем,
Каналами изрезанная сплошь.

Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей.
С каналами? С каналами, мой друг.

Подмочены мои анкеты: где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.

Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не выгатишь на свет:

Прогнило все. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия —
Лирическая лишь величина.

Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий... Вам и невдомек,
В какой стране прекрасной вы живете!

Каких еще нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.

Италия, прощай! В воображенье
Ты еще лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадежна
И разрушает образ, и убого
Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!

Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там в тенечке
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я раны залечу.

А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдась сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрестках топчутся красотки.

Иль вспоминают стены Колизея
И Перуджино... эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают — толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» — «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.

Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.

Нет лучшей участи... похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи, — твержу... Когда б не тень,
Не тень смертельная... Постой, я не об этом.

Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеокими, как пламя, небесами,
Там воин мраморный не в силах встать с колен.
Лежат надгробия, как тени под глазами.

Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к Богу.
Нет лучшей участи, — твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.

Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.

БУКВЫ

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец,
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман –
Илья, Паоло, Тициан
Собирают круглые осколки.

А в русских буквах «Ж» и «Ш»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шума и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши,
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само.
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной.
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, — так, какой-то кустик.

И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.

«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.

Не спи же, вглядывайся зорче.
Нас различай поодиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.

«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

Взамен любовной переписки,
Ее свободней и точней,
Слетают письма от друзей
С нагорных троп и топей низких,

Сырым пропахшие снежком,
Дорожной гарью и мешком,
Погодой зимней и ненастной.
И на конверте голубом
Чернеет штамп волнообразный,

Собой расталкивая мрак,
То из Тюмени, то с Алтая.
И ходит строчка стиховая
Меж нами, как масонский знак.

Родную душу узнаю,
На дальний оклик отвечаю,
Как будто на валу стою.
Соединить бы всю семью,
Да как собрать ее — не знаю.

В Якутии — снег, в Кишиневе — туман,
В Сухуми — жара, в Ленинграде — в карман
Ты прячешь замерзшую руку.
С прогнозом погоды сравнится ль роман
Любой по щемящему звуку?

В телевизионном дрожащем окне
Меняют картинки: Богдан на коне
И киевский зонтик помятый,
А вот Самарканд и узор на стене
Растительный, витиеватый.

Уходит Тбилиси, как дым в синеву.
Зачем я не в Вологде белой живу?
Отмечу Казань как потерю.
И так всю страну, ее снег и листву,
К груди приложу и примерю.

Невообразимо широкий наряд.
Сто Швеций поместится в нем, говорят.
Не знаю, но путаюсь в полах.
Во всем я замешан, во всем виноват.
Сквожу в ее мыслях тяжелых.

Но музыка, та, что за кадром звучит,
Жару урезонит и стужу смягчит,
Вводимая в кровь, как глюкоза.
В ней есть обещанье, надеждой томит
И чем-то еще, сверх прогноза.

АПОЛЛОН В СНЕГУ

Колоннада в снегу. Аполлон
В белой шапке, накрывшей венки,
Желтоватой синицей пленен
И сугробом, лежащим у ног.
Этот блеск, эта жесткая резь
От серебряной пыли в глазах!
Он продрог, в пятнах сырости весь,
В мелких трещинах, льдистых буграх.

Неподвижность застывших ветвей
И не снилась прилипшим к холмам,
Средь олив, у лазурных морей
Средиземным его двойникам.
Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел.

Здесь, на фоне огромной страны,
На затянутом льдом берегу
Замерзают, почти не слышны,
Стоны лиры и гаснут в снегу,
И как будто они ничему
Не послужат ни нынче, ни впредь,
Но, должно быть, и нам, и ему,
Чем больше, тем сладостней петь.

В белых иглах мерцает душа,
В ее трещинах сумрак и лед.
Небожитель, морозом дыша,
Пальму первенства нам отдаст,
Эта пальма, наверное, ель,
Обметенная инеем сплошь.
Это — мужество, это — метель,
Это — песня, одетая в дрожь.

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.
За милую тенью, тебя поджидающей там.
Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
Ах, с самого детства никто тебя так не водил!

По рощам блаженных, по волнообразным, густым,
Расчесанным травам — лишь в детстве ступал по таким!
Никто не стрижет, не сажает их — сами растут.
За милую тенью. — «Куда мы?» — «Не бойся. Нас ждут».

Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно,
Куда с детским садом в три года меня привезли, —
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.

По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди
Такую родную, как эти грибные дожди,
Такую большую — не меньше, чем та, что была.
И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.

ВЛАДИМИР УФЛЯНД

ДЛЯ ГОЛОСА И ГАРМОНИКИ

*Начальник хора и оркестра
русских народных инструментов:*

Спросил я гармониста Моню:
— Хаймович, что с твоей гармонью?
Она рыдает, стонет, плачет.
Скажи мне: что все это значит?

Гармонист:

Оттого грустит трехрядка,
Что в России нет порядка.
Русский гармонист Хаймович
Выражает свою горечь.
Изменила моя Фира
Мне, гуляя у ОВИРа,
И увез ее еврей
Эх за тридевять морей.
Слезы капают из глаз
Прямо в чешский унитаз,
Который, грудью придавив,
Не дал забрать я в Тель-Авив.

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мне кажется, что ветры могут дунуть
и разметать, не напрягая щек,
ограду, над которой могондувид
взлетел, как деревенский петушок.

Мне кажется, здесь все настолько хлипко,
натекужно временно и напока,
что даже солнца вечная улыбка
насмешлива, как будто, и горька.

Все правильно: отжил свое — и в землю.
И вот, в ограду тычась бородой,
хромой служитель, съеденный экземой,
поет и плачет над чужой бедой.

А там, вокруг, толпятся монолиты,
и старичок в засаленном пальто
читает золоченые молитвы,
которых не прочтет уже никто.

Но старики, они неисправимы,
они упрямы, эти старики.
Весь грохот века, рвущегося мимо,
для них не стоит праведной строки.

Все ждут они, когда утихнут битвы,
И Кто-то там, в далеком далеке,
услышит их нелепые молитвы,
на древнем, как Планета, языке...

ИЗ ЦИКЛА «ДИКИЕ ПЕСЕНКИ»

В рабочей столовой – еврейская свадьба.
Две сотни гостей, полтораста бутылок «Столичной»,
жених и невеста в конце бесконечного зала,
и пять музыкантов, и ребе в штанах полосатых.

Петлянье жаргона, широкая поступь иврита,
хромое, фальцетом, ущербное русское слово,
и четкий московский, небрежно сработанный выпад.

И вот я сижу над кусками холодного мяса,
над синей тарелкой с убогим пятном общепита,
тяжелую рюмку вращаю и думаю, кто я:
участник событий, как все, или просто свидетель?

Я просто свидетель. И если скажу вам по чести,
какие в башке под шумок собираются мысли, –
никто мне тогда на прощанье руки не протянет...

Но я же участник. Гони веселей, музыканты!
На мокрый поднос я последнюю брошу десятку,
пройду по кольцу, неуклюже носки поднимая,
и шаткие плечи, сутулые плечи соседей
крахмальным парадом пройдут у меня под руками...

Художник, расчетливый малый,
я понял, но ты отвечай:
За что ты звездой шестипалой
венчаешь людскую печаль?
Зачем твой старик на портрете
твердит Моисеев закон?
Не так ли все люди на свете
бедны и несчастны, как он?

Но волосы вьются. И сгусток
теней. И в прожилках щека. —
Так цепко хватается искусство
за пуговицу пиджака!
И вот уж — откуда берется? —
возникло и бродит в крови
к измученным единокорядцам
постыдное чувство любви...

ЕВРЕЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Мой приятель, Володарский Сема,
выглядел светло и невесомо,
жил с отцом и матерью в каморке,
с форткой, выходящей на задворки.

Он любил играть на мандолине,
раз в неделю приходил к Галине,
пил чай и поедал варенья
и не к месту ставил ударенья.

А отец его был очень старый,
знал гипертонию и катары,
знал впридачу, кто такие: Будда,
Боткин и Менухин Иегуда.

Говорил он с нами без оглядки,
задавал нам мудрые загадки,
вспоминал попутно то и это,
никогда не требовал ответа.

Он жалел, что так и не учился,
так-таки ничем не отличился,
жизнь его прошла неинтересно,
не духовно, да и не телесно...

Умирал он на кровати, дома.
Говорил он перед смертью: — Сема!
Все забудь, сыночек, для учебы,
вылезай, мой мальчик, из трущобы...

Сема что ж? Женился на Галине.
Перестал бренчать на мандолине.
Поменял квартиру и обличье
и преодолел косноязычье.

Выучился, став таким манером
радиосерьезным инженером.
И не знает ни дождя, ни тучки
от получки — до другой получки.

Покуда жил мой дед, так он, бывало,
весь день читал одну большую книгу,
с округлыми, как облако, листами,
в следах от указующих перстов.

Прочтет главу, потом наденет боты,
пойдет на двор — поговорить с соседкой,
посмотрит на темнеющее небо,
вернется в дом и скажет: «Так и есть!»

Что так и есть? — А все...

ЭЛЕГИЯ
(отрывки)

Куда мне деться? В Бога я не верю.
Боюсь, боюсь, а все-таки не верю.
Не верю вовсе. А уж как боюсь!
(Легко ли ощутить духовность мира,
когда, как гусь, ты густо нашпигован
плебейским духом материализма,
безрадостным еврейским чесноком!)
Угрюмые пророки Иеговы
не зря жевали хлеб и знали силу
распахнутой, незавершенной строчки,
поставленной с разбегу на-попа.
Великий клан, безумная семья,
но все до одного — головорезы!
От этих прочь. А что до Иисуса —
я рад ему. Но только он не Бог...

Так и живу. И вместо благодати —
чеснок и перец материализма,
бессонный, нерастраченный вопрос,
да вечная ухмылка демократа,
рискующего преклонить колени
пред кем угодно, кто велик, но равен,
пред тем, кто славен, — но не вознесен.
.....

Переезжаем. Масляная краска.
Я лишний человек. Раскрыты окна.
И к радости примешана печаль,
как запах яблок к запаху олифы.
Богатый отчим закупил мешок
антоновских, литых, крупноголовых,
а в комнатах ремонт, раскрыты окна,
«грызи», мне говорят, и я грызу
зеленовато-кислую олифу.

Я выхожу во двор. Играют дети.
И робкий взгляд жидовского отродья,
ежеминутно ждущего подвоха,
я направляю мимо их голов.
Все обойдется... Я еще не знаю,
в какой тоске мне суждено метаться
между колодцем масляной окраски
и дружески обхарканным двором.
И что за цену заплатить придется
за хлеб и кров, за гречневую кашу,
за чай без счета, пахнувший лекарством,
за пару брюк и прочее довольство,
за вонь клопообильного дивана,
за пыль неистребимого ковра...

.....
Скрежещет лед у водяной колонки,
уборная воняет керосином,
шатаются перила. Наверху
семь рыжих девок — замуж не выходят,
семь ражих баб — беснуются и воют,
и судят мир, и водят хоровод.
И так поют — до смерти не забудешь:
еврейский вопль и русская безмерность,
и вяжущая нежность-полукровка,
на голоса разложенная боль.
Вот так и жить. Вдыхать уютный воздух,
где с потом перемешаны флюиды
прикосновений, вздохов и намеков,
и слез, и необузданных любвей.
Вот так и петь. Хлебать по вечерам
свекольник из веснушчатой тарелки
и на диване, опершись на локоть,
с девицами тягаться в дурака.

Так и не знать того, другого дома,
в котором полумрак и неподвижность,
где царствует умеренная сырость
и лживая тугая тишина.
(И лучше так, и только б не прорвалась,
боишься тронуть, Боже упаси!)

.....

Нет, грех роптать. Пока здоровы дети;
пока меня уральская тайга
не приласкала писком комариным,
пока не окунула мордой в снег,
сухой и жесткий, как наждачный камень;
пока я о сосну не бьюсь затылком;
пока я жив — и радуюсь погоде,
пока здоров — и от кошмарных снов
еще меня спасает пробужденье;
пока я заморожен и обижен,
пока я раздражителен и сух —
все хорошо, чего и вам желаю.

Я прожил жизнь не хуже, чем пытался,
все выжал из нее и все в ней выжил,
и кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
я вновь прикинусь теплым и живым.
Мой внешний вид вне всяких подозрений,
ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка —
в которые вошла без искажений
моя потусторонняя тоска...

ВЛАДИМИР ПОПОВ

Через поле напрямик
всем своим кагалом
едут Изя Броневи́к
и Ефим Шлагбаум.

Удивляется народ
на такое горе:
и куда их черт несет
через это поле?

Я вопрос не разрешу,
но скажу старательно:
я к евреям отношусь
очень замечательно.

И пословицу я так
помню без сомнений:
«Если Мойша не дурак,
значит, Мойша гений!»

Поворот и поворот, —
вот и скрылись вскоре...
И куда их черт несет
через это поле?

БОРИС ШТЕЙН

Недавно умер замполит Леви.
Он не снискал особенной любви
У личного состава миноносца.
Хоть был не солдафон и не дундук
И говорил, что он матросам друг,
И это было, в общем, не наносно.

Нам всем-то было нелегко служить,
А он еще хотел соединить —
То был предмет горячечной заботы —
Соединить гауптвахту и парад,
И здравый смысл, и правду, и догмат
Партийно-политической работы.

Ах, замполиту было нелегко...
Порой летели пули «в молоко»,
А он, бедняга, был лишен цинизма.
Рассматривал, как партия велит,
Тот факт, что он еврей и замполит,
Как признак интернационализма.

А сын его, обретший аттестат,
Был сразу не допущен на физмат.
И не сдавал: не подошла анкета.
И спросил погашенный юнец:
Ты все мне лгал, мой дорогой отец?
И замполит не находил ответа.

И Пражскою удушливой весной
Ему пришлось сначала над собой,
А уж потом над нами потрудиться.
Он убеждал. Он был сугубо за.
И голос был с металлом, а глаза,
Глаза метались, как больные птицы.

Наш замполит, он ревностно служил.
Неправдою, как правдой, дорожил
И пресекал любые пересуды.
Он с этих дел богатства не нажил.
Он на алтарь всего себя сложил,
И раньше срока лопнули сосуды.

ЗИНАИДА ПАЛАЙЯ

Змятятся росчерки веков
На древних склонах Палестины,
И полинялою холстиной
Волнуются гряды холмов.

Овечек рыжие клубки
По выжженной земле кружатся
И здравым мыслям вопреки
Желают сытыми казаться.

И равнодушно смотрят на
Автобусного пассажира,
На вторгшийся в их времена
Осколок из другого мира.

Среди бесчисленных камней
Так отрешенны, так красивы
И всякой мудрости мудрей
Тысячелетние оливы.

Их аскетичная листва,
Стволов корявые извивы
Напоминают мне мотивы
Иконы русской Покрова.

Мне кажется, я здесь была...

ПОКЛОН ОТ МАВРИЙСКОГО ДУБА

Я, забыв про суету сует,
В зимний лес, как в зимний Храм, входила.
Снежная пороша закадила,
Замерцал лампадой бледный свет.

Дуб знакомый улыбнулся мне,
Осенивши веткой пятипалой:
«Где, моя душа, ты пропадала?»
Отвечала: «Привезла тебе

От отца маврийского поклон».
Жив еще, но в каменной одежде,
И последней веткой, как надеждой,
Украшает высохший амвон.

Русский инок за больным глядит,
Дотемна радеет спозаранку.
Черную российскую буханку,
Как награду, он прижал к груди.

«Верно, правду говорит молва:
Возродится мир российским духом», —
Как бальзам, монашескому уху
Земляков-паломников слова.

Я на дуб библейский оглянусь,
Инок перекрестит на прощанье.
Увезу поклоны покаянья
Из Святой Земли в Святую Русь.

НИТЬ АРИАДНЫ

Ни за что никогда насовсем из России
не уеду. А только всего на чуть-чуть:
на три дня – и не больше. И как бы меня ни просили
(если будут, конечно, просить), я свой путь,
как почтарь белокрылый, направлю к далекому дому,
и цепляясь крылами за встречного ветра струю,
я по запаху черного хлеба узнаю дорогу,
по глазам незабудок родное гнездо отыщу.

Ах, Россия, Россия – глаза ворожей!
Что за тайное зелье дала мне испить?
Не твои ли картины «необщим лица выраженьем»
Навсегда отпечатались в сердце? И нить
Ариадны к родному порогу навечно прибита.
Но клубок размотавши, я выйду к чужим берегам.
Там, в ущелье, под уровнем моря, есть Храм Хозевита,
Где пророк Илия перед Богом курил фимиам.

И натянется нить между ним и Россией
Через тысячи лет золотою струной.
Не в России ли будет второе явление Мессии?
Не за это ли платит ценой дорогой
Не похожая ни на какую другую часть суши,
Умываясь водой из двенадцати разных морей?
Сыне Божий Иисусе, спаси наши грешные души!
Над пространством и временем мост перекинь поскорей.

ВАЛЕРИЙ КРАСКО

АССИМИЛЯЦИЯ

Арону Мафантиди

Он понял у дверей
потерянного времени:
не грек и не еврей —
совсем иного племени
была его душа,
впотьмах, по бездорожью
отчаянно спеша
к безбрежному безбожию,
и не было уже —
в процессе восхождения —
в ликующей душе
тяжей «происхождения»:
Коринф и Назарет
в лице его растаяли,

но где-то — на заре
Олимпа ли, Синая ли —
двуликая душа
от Лика отрекается —
по-гречески греша,
по-иудейски кается...

Я немножко помолчу:
по рыданиям на заре и
по дырявому плащу —
все мы, в сущности, евреи —
не по крови — по судьбе —
по тропе к чужому раю...

Я немножко о себе —
о тебе — попричитаю,
я немножко посижу —
потерпи меня, покамест
постепенно ухожу,
удаляюсь, уменьшаюсь —
точечка среди равнин,
сам себя не замечаю,

словно старенький раввин,
горько головой качаю...

МОТЕЛЕ

Памяти Иосифа Уткина

Каждую субботу ровно в восемь
У подъезда смазывает лыжи
Мой сосед Матвей Натаныч Розин —
Мотеле, но черный, а не рыжий.

Он работает не в гастрономе —
Токарем — работы нет почтенней,
И ничем он не приметен, кроме
Носа,

имени
и убеждений.

С родичами он в негласной ссоре —
Даже с мамой, старенькой и грустной,
Потому что род свой «опозорил» —
Ведь женился — по любви — на русской!

С теми, кто его «жидовской харей»
Обзовет сивушно и надсадно,
Говорит он прозой — не стихами
(У него второй разряд по самбо!)

Говорит с улыбкою усталой:
«Горе — как сосед — войдет и выйдет...»

Но при звуках «Интернационала»
Плачет он, когда никто не видит:
Ведь бывает — смех, конечно, смехом! —
Но от смертного стыда застонешь —
Не за то, что брат его «уехал»
(Он ведь брату своему не сторож!),
Не за то, что женимся и женим
Без любви, поэтами воспетой,

А за то, что мир несовершенен,
Что не все мы доросли до этой
Песни, самой светлой и безбрежной,
Освященной Светом, а не кровью...

(Доченьку, рожденную Надеждой,
Он назвал — конечно же! — Любовью).

И поскольку этим Гимном бредит
По ночам, бессонницей изранен,
Никуда — отсюда — не уедет
Мотеле — тем более, в Израиль...

И пускай застрянут строчки эти,
Тайну Вдохновения не выдав,
В горле, словно кость, у всех на свете
Сионистов и антисемитов!

Порой – под утро – прикорну,
Хирея и старея,
И снится, что на всю страну –
Ни одного еврея:

Все разлетелись кто-куда
На лайнерах заката –
Кто за кордон, а кто – туда,
Откуда нет возврата.

И я докладывать готов
В ООН (доныне мы там!),
Что «No problem» – ни «жидов»
И ни антисемитов! –
На эту тему – нет как нет! –
Ни фраз и ни словес нет...

Но в радуге какой-то цвет
Погас – и не воскреснет,
И слезы лью, а не елей,
На ветреной заре я:

Без них, наверное, светлей,
Но с ними – веселее...

МАРК РИХТЕРМАН

Дождем размытая дорога.
И день опять прошел не так,
И нет ни дьявола, ни бога,
А только жалкий березняк,
Куда-то уходящий косо,
Пустого неба тяжкий свод,
И вечно русского вопроса
Такой немислимый исход...

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ

Бог евреев, даруй мне удачу
На проклятой, на скользкой земле.
Видишь, я на коленях и плачу,
Провисаю на тонком стебле.

Бог Израиля! Милых и близких
Сохрани от недугов и ран,
Если шляется кто без прописки,
Возврати их в родной Ханаан.

А меня под пятой демиурга
В той холодной, безлюдной степи,
Сбереги под ножом у хирурга
И от яда лекарств укрепи.

Ну, а если Тебя нет на свете,
Бог Иова, Иисуса, Иуд,
Стань же богом на этом рассвете,
И народы к Тебе потекут.

Я буду писать эту книгу,
А жизнь пролетит под шумок,
Запроданный данному мигу,
От вечного в мыслях далек.

Вы скажете: рядом творится
Истории царственный ход,
И все же со мной повторится
Продажа в Египет. Исход.

В окно надвигается вечер,
Ветвистое дерево, снег.
Как вечен, как вечен, как вечен!
И, все-таки, слаб человек.

Я так дожидался покоя,
Судьба моя вдрызг снесена,
Но снова я этой рукою
Пустые черчу письма.

Кому и зачем это надо —
Чем был я гоним и храним?
Но вечности веет прохлада
Над хлебом насущным моим...

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России...

А. Пушкин

И что мне в тех пустынях,
В тех древних голосах,
В тех нестерпимо-синих
Пустынных небесах?
Гробница Авраама,
Пыль глинобитных стен,
И сквозь века упрямо
Преемственность колен?

И кровь моя не помнит,
И речь их не близка,
Лишь иногда наполнит
Пустую грудь тоска,

И беглый шарик ртути
По памяти скользнет
В стандартном неуют
Средь мелочных забот.

Я в жизни не однажды
Бежал, куда люблю,
Но только понял, жажды
Я так не уголю.

При каждом возвращении
На старые места,
Такое ощущение,
Что совесть не чиста.

Ведь только детям, детям
Доступен этот свет,
А Родины на свете
На самом деле нет.

Так что ж тогда вас тянет
И русских и жидов? —
Предчувствие обманет,
А разум лгать готов.

А мне так лучше поле,
Где клонится ковыль,
И ветер носит соли
Крупинчатую пыль.
Где слабо слышны вздохи
Двух сомкнутых морей
И шелестят эпохи
В могильниках царей.

Там лечь, раскинув руки,
Под небом как вода...

...Ни горечи, ни скуки,
Ни страха, ни стыда...

НАДЕЖДА МАЛЬЦЕВА

СТАРАЯ, СТАРАЯ ПЕСНЯ

Что же ты плачешь всю ночь под окном
Прошлого, ставшего темным пятном?
Там, где горит семисвечный шандал,
Что же особого ты увидал?
Это лишь морок, пустая блона,
Просто в крови закипает весна,
Вдох — и вонзается в шею удавка!
Это не родинка, а бородавка.

Тумбала, тумбала, тумбалабончик,
Русско-еврейский бубенчик в груди!
Кто бы ты ни был, подай-ка червончик
В кружку церковную и отойди.
Тумбережь, тумбережь, тум — ни бельмеса
Ты в береженном своем не поймешь,
Корни — от Бога, пыльца же — от беса,
В чью же копилку опустится грош?

Тумбала, слышишь ли голос в себе.
В сердце сиротском, в блаженной судьбе?
Тих он, однако велик, как набат, —
Слезы? Стыдись их, возьми их назад!
Разве не ты в Гефсиманском саду
Бредил о чаше баланды мирской,
Разве не Я за тобою иду
И подаю тебе пайку на кой?

Тум бишь да где бишь, в Твери бишь, во Ржеве,
Въяве бишь, вживе бишь, вправе бишь, влеве —
Плоть лишь балласт, благодатное било,
Боль для души, что себя оскопила.
Тумболько, тумболько, тумболяченько,
Боле, чем надо, нам боли пришлось.
Все мы прошли за ступенькой ступенька,
Тумбала-тамбуры песни насквозь.

Так ли? Не так ли? Не все ли равно ли?
Пусть уравниются лучшие доли
Между баллистами рая и ада
Там, после смерти, а нынче не надо.
Глупый, не плачь! Еще мама и папа
Живы, и прошлого липкая лапа
К ним не протянется граблей в крови
За благодатьней новейшей любви.

Тумбала, разве не солоно брашно?
Тумбала, разве по-прежнему страшно?
В мире, где мы никому не нужны,
Разве нельзя обойтись без жены?
В мире, где тумбы, и тумбы, и тумбы,
И телевизоры — вынести ум бы
В тумбелокаменный град белоризный —
Тот, что московской зовется отчизной.

Да, без жены, без детей, без корней,
Да, без друзей, без могил, без теней,
Глядя в одно лишь грядущее так,
Словно пред взором расступится мрак,
Блеклых не слышать шагов по пятам,
Быть и бывать — только там, только там
И одиноко при свете лучины
В сроки еврейские справить босины.

Томбола, томбола, тум – лотерея,
Ветхий завет или Новый завет,
Сможешь ли, крест на груди лицезреть,
Выиграть свой несчастливый билет?
Ноги омой и шагай-ка, шагай-ка!
Скрипочки, эй, прекратите вытье!
Тум-балалайка, тум-балалайка,
Сердце, разбитое сердце мое!..

СЕРЕНАДА ДЛЯ ШУБЕРТА

Брось, Александр Сердцевич...
О. Мандельштам

В домишке на окраине
ютилось пять семей,
и что ни день отчаянье –
хоть дома не имей,
и рядом с разведенкою
под радио-диктант
квартировал за стенкою
еврейский музыкант.

В очках на черной ниточке,
поэт, старик и псих,
наверчивал на скрипочке
и в-пятых и в-шестых,
и в такт судьбе задрипанной
под взмах незримых крыл
цыплячьей шейкой щипаной
над декой поводил.

В душе души на доньшке
и на зубах песок,
и на чужой стороншке
сломался голосок,
сломалось время чертово,
на улице темно,
водой из моря мертвого
напиться не дано...

А он свистит и кликает,
и хнычет, и вопит,
пиликает, курлыкает,
как распоследний жид,
стучит соседка в стеночку —
мол, хватит, дай поспать,
и так не цвет к оттеночку,
а в бога-душу-мать!..

По-птичьему он оскалится
и не прервет игры,
над ним звезда-скиталица
раскинула шатры,
ему же что околица,
что вечный тот отсчет,
поплачет да помолится —
он скрипачкой живет.

Живет не ради сущего
кефира и кино,
а что до света пущего —
чего там, все равно,
ему, как и соседке,
хватает двадцать ватт,
а в том, что счастья нетушки,
никто не виноват.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

КРОВЬ

Этой крови неостылой –
Капля, может быть, одна...
Но Рязань и Палестину
Пересилила она.

Мощью полчищ неоседлых,
Красным рокотом кострищ...
Пращурь в ордынских седлах,
Я без вашей крови нищ.

...Родич! Вор, мясник и плотник,
Белозубая цинга,
Ты – и богу не работник,
Ты – и черту не слуга!

Родич! Мученик, бродяга,
В речи – мертвый плеск Невы.
Не к добру, ты прав, отвага
Зачумленной головы...

Я сойду с алтайских склонов,
Принесу я суховой
В край мечетей оскверненных
И расхристанных церквей.

Чтобы цвел в неугасимых
Пламенах и теремах
Материнский град Касимов
На своих семи холмах!

Скачем мы в садах немолчных,
И летит, костры паля,
В белых, розово-молочных,
В гиблых яблоках земля.

ЕВРЕЙКА

Еврейка смеется в ночном ресторане,
Бокал за высокое горло берет.
Слова осужденья сурово чеканя,
Надменно кривится опасливый рот.

И молча — так осенью смотрит волчица —
Взирает с бесстрастной тоской, свысока...
Улыбчивый камень на пальце лучится,
И веет духами в чаду кабака.

Что мне этот взгляд, недреманно и сонно
Скользнувший по зыби вселенского зла,
Широкие бедра шинка и Сиона,
Лоза вертограда, Треблинки зола?

Лазутчицы четкость и желчь секретарши...
Заносчиво курит, приветливо ест.
Зачем же мне грезится жезл патриарший,
Пылающий куст и чернеющий крест?

Немые молитвы о нищенской манне,
Века и кружение душное толп.
Ведь мы заблудились. И что там в тумане —
Телец золотой или огненный столп?!

СТЕПНАЯ КРОВЬ

Как брови гневно ни суровь,
С годами взгляд смягчился строгий.
Но лютая степная кровь,
Ее звериные тревоги!
Ты вдруг захочешь кочевать,
В квартире городской опять
Шкафы и стулья переставишь
И душу тусклую растравишь...
Так волк, дразнимый там и тут,
Оглянется, зеницы сузит
Или решетки ржавый прут
В бессильной ярости укусит.

БАБУШКА

Были же в этой России
Гоголь, Леонтьев, Лесков,
Было «Явление Мессии»,
Тертий Филиппов, Катков!

Блещет всезрящее око
Холодноватых икон...
Бабка, ровесница Блока,
Этих не знала имен.

Но, помешавшись в блокаду,
Верой семейство спасла...
К ветви, струящей отраду,
Жметя лампадка, тускла.

Тверже мореного дуба
Этот морщинистый лик,
Что, улыбаясь беззубо,
К чайному блюдцу приник.

Медленно деревенея,
Не забывает обид,
Гневно на зятя-еврея,
Нежно на внука глядит.

Ходит, гремя костылями,
Сушит свои сухари...
Глядя в закатное пламя,
Бабкины сны досмотри!

Вижу вечернее солнце,
Перекрестившее дом,
И на тарелочном донце —
Ангела с красным крестом.

Под образами на снимке —
Дед социал-демократ
Сумрачен в глянцевой дымке,
Молодцевато-усат.

Черни течет половодье,
Чудный мерещится звон,
И на литейном заводе
Служит молебен Гапон.

Все перепуталось тупо:
Пушки Путилова, Круппа,
Танки заводов Рено,
Жидкие порции супа,
Радио, Сталин, кино.

МУЗЕЙНЫЕ ВЕЩИ

В музее — упавший под ношей Атлант,
Сухарь, и декрет, и муаровый бант,
И волны беспамятства льются,
Лишь дети и внуки Инессы Арманд
Остались от всех революций.

Россия истоптана вся сапогом,
Вся в дом превратилась сиротский,
И что из того, что совсем о другом
Кричали и Ленин и Троцкий!

Но вечно сквозь поле и пасмурный лес,
Что широколиствен и хвоист,
Сквозь шелест истлевших шелков РВС
Тяжелый течет бронепоезд.

Парижских бессмертна бульваров листва,
Дантона отрубленная голова,
Фригийский колпак Демулена,
И старая та, заводская Москва
Гудками своими нетленна.

И жалкое, медное Крупской кольцо
Во времени вспыхнет безлюбом,
И то, ледовитое, злое лицо,
Расколотое ледорубом.

ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ

ДРУГУ

1

По улице Архипова пройду
В морозный полдень
Мимо синагоги
Сквозь шумную еврейскую толпу,
Сквозь разговоры об отъезде скором,
И на меня – прохожего –
Повеет
Чужою верой
И чужим презреньем.

И будет солнце в медленном дыму
Клониться над исхоженной Солянкой,
Над миром подворотен и квартир,
В которых пьют «Кавказ» и «Солнцедар»
По случаю зарплаты и субботы.

И будет воздух холодом звенеть,
И кучка эмигрантов в круговерти
Толкаться,
Выяснять
И целоваться,
И будет дворник,
С видом безучастным,
Долбить кайлом,
Лопатою скрести.

И ты мне будешь объяснять причину
Отъезда своего
И говорить
О праве человека на свободу
Души и слова,
Веры и судьбы.

И будем мы стоять на остановке,
Где гражданин в распахнутом пальто,
Такой типичный в этой обстановке,
Зашлепает лиловыми губами,
Но только кислый пар,
И ни гу-гу.

И ты меня обнимешь на прощанье,
А я увижу рельсы,
По которым
Уедешь ты
Искать и тосковать.

Ох, это будет горькая дорога!..
И где-нибудь,
В каком-нибудь Нью-Йорке
Загнутся рельсы,
Как носы полозьев...

Свободы нет,
Но есть еще любовь
Хотя бы к этим сумеркам московским,
Хотя бы к этой милой русской речи,
Хотя бы к этой Родине несчастной
Да,
Есть любовь —
Последняя любовь.

Обращаюсь к тебе, хоть и знаю – бессмысленно это,
Из осенней Москвы обращаться к тому, кто зарыт
На далеком кладбище далекого Нового Света,
Где тебя Мандельштам не разбудит и не озарит.

Твои кости в земле в тыщах миль от московских околиц
И прощай ностальгия – беда роковая твоя!
Но похожий лицом на грача или, скажем, на Мориц,
Хлопнул крышкою гроба, души своей не затворя.

И остался твой дух – скорбный вихрь иудейской пустыни,
Что летает по свету в худых небесах октября,
Что колотится в стекла и в души стучится пустые,
Справедливости требуя, высокомерьем горя.

Но смолчали за дверью в уютной квартире Азефа,
Чтобы ветер впустить – не нашлось и в других чудака.
Лишь метнулась на лестницу кошка сиамская Трефа –
Ей почудился голос в пустых парусах чердака.

Это голос хозяина звал ошалевшую кошку
И ушел по России, и сгинул за гранью границ,
И оставил раскрытым в ночи слуховое окошко,
Словно вырвалась стая каких-то неведомых птиц.

И навеки пропала за серой стеной небосвода,
И растаяло эхо, идущее наискосок...
Поколение это другого не знало исхода:
Голос – в русское небо, а тело – в заморский песок.

И когда колченогий режим, покачнувшись, осядет со скрипом,
То былой диссидент или бывший поэт-вертопрах
На развалинах родины нашей поставит постскриптум:
Только прах от разграбленной жизни остался, лишь пепел да прах...

ЕВГЕНИЙ ВЕНЗЕЛЬ

Мой отец – еврей из Минска.
Мать пошла в свою родню.
Было б, право, больше смысла
Вылить сперму в простыню.
Но пошло и я родился
Половинчатей отца:
Я – как русский – рано спился,
Как еврей – не до конца...
И звезда моя навечно
Неясна и далека.
Если вдруг пятиконечна,
Не миную кабака,
Ну а если из тумана
Мне покажется желта
Из жидовского шалмана
Иудейская звезда?
Будет так или иначе –
Все равно не одобровать, –
Две звезды, кряхтя и плача,
Душу могут разорвать.

МИХАИЛ ГРОЗОВСКИЙ

Гляди в прямоугольник ночи,
но сокрушаться не спеши.
Еврейский ум на русской почве
обрел подобие души

и стал томлением пространства,
тоской, которая сама
всего лишь плод непостоянства
мятежно-праздного ума,

всего лишь тягостный избыток
страны, где тлеет бытие,
где все, что взял, душой забыто,
а все, что отдал — все твое.

В ХАЙФЕ

Алеше, племяннику

На берегу Средиземного моря
то ли от радости, то ли от горя
с братом родным разговор замесили:
он об Израиле, я — о России.

От изобилия рынка балдея,
брат мой, открывший в себе иудея,
грустную память из сердца гоня,
слушал меня и не слышал меня.

Ехать к своим, хрен на все забывая,
звал он, чужое своим называя.
Я же, в чужом не ища своего,
слушал его и не слышал его.

А из-за гор, как из Книги Завета,
солнечный ветер сквозил с Назарета.
Свет через тень проходил и не гас,
словно на Истину пробовал нас.

Каждый был прав. Но порой, временами,
что-то рождалось не в нас, а меж нами
и умирало... и снова росло...
море волною на берег ползло...

Что оставалось? Внимать терпеливо
солнцу и ветру над Хайфским заливом,
голосу брата, томительным дням,
свету, текущему с гор по камням...

ПРОЩАНИЕ

Янику

Ты меня ни в чем не убеждай.
Если хочешь ехать — уезжай.

Мы с тобой почти что старики.
О любви трепаться не с руки.

А и то сказать: у нас в крови
нету генов жертвенной любви.

Так что, если можешь, — уезжай.
Только ничего не утверждай.

Стрелка жизни — к перемене мест.
Бог не выдаст, и свинья не съест!

Лишь душа, что ведьма на метле.
Ей, подруге, на любой земле
тесно в человеческой тюрьме.

...Вот такое, значит, резюме...

ДЕРЖАВНАЯ ДУМА

Рванули щеколдою ржавой.
Пустили в страну сквозняки.
На думу великой державы
набросились, наивняки.

До неба наделали шуму,
три шкуры содрали с земли,
а только державную думу
никак одолеть не смогли.

Она неподвижной осталась
на фоне всеобщих потуг.

«Та дума без нас начиналась, —
сказал отъезжающий друг. —
И можно мечтать до могилы,
что что-то изменится здесь.
Но будет все то же, что было,
поскольку так было и есть...»

СКОМОРОХИ

И в правах, и в словах, и в делах
и Восток нас обставил, и Запад;
и по уровню жизненных благ,
и на вкус, и на цвет, и на запах.

Кто ловчей да бойчей, те как раз
и выходят в приличные люди.
Это там. Далеко. Не у нас.
А у нас — победителей судят.

Перевернутым судят судом,
кто ловчей да бойчей — те и плохи.
И гудит опрокинутый дом,
и выходят на круг скоморохи.

Скоморохам зачем побеждать?
Только вскинься — окажешься в луже.
Эка ль радость, победа?! Видать,
в нашем доме чем лучше, тем хуже.

И не важно, чем кончится суд,
с давних пор скоморохи не плачут.
Нынче сами себя вознесут,
завтра сами себя одурачат.

Но смеются леса и поля,
дескать, даром возьмешь, а не купишь!
Побежденных прощает земля.
Победил — и пойдут без руля
скоморохи крутить кренделя...
И в кармане окажется кукиш.

Землею и вскормлен, и взношен,
Я шел по равнине родной;
И думалось мне о хорошем,
И в поле шел дождик грибной.

Потом зашумели деревья,
Потом потянуло рекой;
Какая-то, видно, деревня,
А может быть, город какой...

И добрыми были в тот вечер
Россия и небо над ней.
Я шел в направлении встречи.
Я встретил хороших людей.

Мы вскользь говорили, попутно
О жизни, ее не кляня...
А ночью я спал. А под утро
Они провожали меня.

Три раза обняли, по-русски;
И хлеб принесли, и махру.
И было немножечко грустно,
Что я все беру и беру...

Все как в древности: ночь да деревня,
Пятистенок, да печь, да окно;
Внучка с бабкою, ветер, да время...
Бабка знает: уходит оно.

И не жаль, да расстаться не просто
С буйным ветром в родимом краю,
Что приносит с равнин и погостов
Одичалую песню свою.

Он поет, а она втихомолку,
Прижимая ребенка к себе,
Богу молится...

— Бабушка, волки!

— Что ты, милая, ветер в трубе...

Все как в древности: дикое пенье,
Ожиданья тягучий застой;
И над всем, словно чудо прозренья,
Примиренье с любой судьбой.

Невозмутимые снега
на хмурый мир, смердящий яро,
на тусклый город свысока
сошли, дыша его угаром.
Невозмутимые снега
легли на мир людской тревоги,
не умещаая в берега
одной души.

Но души многих
завороженные сошлись
пред всеохватною стихией.

И занялось, и взмыло ввысь
неодолимое:

— Россия,
прости нас всех!

Она молчит,
снегов обманчивою глубию
глядит,

и чувствуешь — простит...
Нас всех простит...
Но не полюбит...

И как бы там ни дорога
была любовь в наш век железный,
но все окутали снега,
невозмутимые снега
над расширяющейся бездной.

Вот я и подошел к черте,
ничтожнейший поэт;
к пределу, бездне, пустоте,
развалу дней и лет.

Есть кто-то высший, кто решил,
кто суд над предками вершил,
кто в мозг и душу им вложил
печаль на все года,
и сладкой тайной окружил,
и чувство жуткое внушил,
что я на этом свете жил
не там... и не тогда...

Умом Россию не понять...
Ф. Тютчев

На собрание сидели, зевали.
Выступали, как будто клялись.
В заключение проголосовали
И себе на уме разбрелись.

Долго совесть угрюмым набатом
В потаенной гудела глуши.
Я ходил и искал виноватых,
Чтоб спихнуть эту тяжесть с души.

Над Москвою дожди моросили.
Ветер под ноги листья кидал.
— По Москве не суди о России, —
Чей-то голос возник и пропал.

И нежданно-негаданный ветер
Шутовски извернулся винтом.
— Ты откуда? — Никто не ответил.
— Ты куда? — Не ответил никто.

И брат зовет, и шепчет мать:
«Уедем прочь из мглы и ада.
Отказываюсь понимать, —
(и начинает обнимать) —
зачем тебе все это надо?»

АРКАДИЙ ПРЕСМАН

У СТЕНЫ ПЛАЧА

Разве жалок и разве случаен
чей-то сдавленный горестный вскрип
у стены всенародной печали,
у священных базальтовых глыб?

Не редет людей вереница,
прибывают опять и опять,
чтобы к богу с мольбой обратиться,
на листочке ее начертать.

Оставляя записку на камне,
предсказать нелегко наперед,
что с ней будет: в безвестность ли канет
или все же до бога дойдет.

В древних плитах особая сила.
Просьбы те не рассыпятся в прах.
И сестра за меня попросила
перед богом на двух языках.

На иврите и русском, конечно.
Чуть намокла записка от слез.
Кольхнул ветерок ее вешний,
подхватил — и с другими понес.

Будто белых журавликов рати,
и несхожих и схожих собой...
И мольба о воронежском брате
над израильской кружит землей.

Когда-нибудь и я увижу это,
осилив расстояния дорог:
резные башни, звезды минарета,
кресты собора, своды синагог.

Седые тучи проплывают мимо.
И с плоской крыши, может быть, не зря
чернявый мальчик из Ерусалима
бросает в поднебесье почтаря.

И голубь, обретая направление,
оставя и кормушку, и ночлег,
летит, летит, расправив оперенье,
на мой полузатерянный ковчег.

Бушуют хляби жизненного моря,
кромешную пучину обнажив,
и может я, хлебнув немало горя,
достигну тверди и останусь жив.

Бунтует кровь. Она не мякоть в клюве.
Бунтует, напрягаясь от борьбы.
И голубь тот с масличной веткой в клюве,
как знак судьбы.

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

РОДНЯ

Я прикинул на глазок,
и в родне моей
оказались —
кто как смог —
русский да еврей,

непутевый Исаак,
бешеный Иван,
битый молью лапсердак,
сжамканный кафтан,

горы стоптанных сапог,
чиненых штиблет,
треушок да котелок,
чуйка да жилет...

Остывает не спеша
сладкий кипяток —
плачет русская душа,
забредя в шинок;

согревается стакан,
замерев в руке, —
иудейская тоска
отошла в шинке...

Непутевый Исаак,
бешеный Иван
выясняют, кто дурак,
кто из них — болван, —

богомольцы-чужаки,
пасынки тоски,
Божьи дети, корешки,
корни, мужики, —

с государем на стене,
с ангелом в окне...
Три стакана на столе,
видно, третий — мне...

Выпей с нами нашу грусть
впрок, а не зазря,
мать Россия, мати Русь,
бабушка моя...

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Историческое лицо
после ужина перед резнею
поднимается на крыльцо
историческое — резное.

И лицу, и крыльцу — хорошо:
всею глоткой, всей грудью дышат...
Перед ужином дождь прошел,
после ужина солнце вышло;

все, что может молчать, — молчит,
все, что знает про радость, — радо,
конь не вскрикнет, не закричит
ни прабабушка, ни прапрадед...

Оттого и легко лицу
историческому — все лепо,
все понятно и все к лицу:
и крыльцо, и земля, и небо.

И глядят на него поля,
строй домов и шеренги улиц...
Только я да мама моя
не хотим глядеть — отвернулись...

Сентиментальным становлюсь —
летят года: тик-так...
Люблю ли родину — боюсь,
не так люблю, не так...

Есть что-то в голосе моем
не для ее полей —
она не слушает о том,
как мне не страшно с ней,

кивает веточкой — «ага»,
шуршит ромашкой — «ась?»,
взбивает желтые стога,
советует, смеясь:

«Поди росы ночной испей,
на травке полежи,
о доброте моей своей
подружке расскажи...»

Там все, как прежде было:
уставших на путях,
хозяйственное мыло
отмыло работяг;

спят бабушка и мама,
спит дедушка Абрам
и краевая дама,
приехавшая к нам;

собачка не залает,
не твякнут поезда,
и только ночь гуляет,
покуда молода:

шуршит она подолом,
закармливает сном,
хорошая, как шолом-
алейхемовский том...

Но – чу! – никем не слышим,
при каске завитой,
опять на вахту вышел
пожарник молодой.

Покуда грянет зорька,
с биноклем или без,
он взглядом дальнотзорким
прочесывает лес:

не вспыхнул ли подснежник,
дымит ли где багул? —
и взгляд его прилежен,
хотя и на бегу.

И думает пожарник,
разглаживая лоб:
— В черте Биробиджана
и за чертой — тип-топ.

Тип-топ на фирме «Мебель»,
на базе «Вторчермет» —
ни на земле, ни в небе —
нигде пожара нет.

Не видит он, не знает,
начальству не звонит,
как грудь моя пылает,
как сердце в ней горит.

А знал бы он об этом,
проведал бы о том —
навряд ли бы коллегам
скомандовал подъем:

в училищах пожарных
еще не говорят,
что делать с пацанами,
которые горят...

Мир еврейских местечек... Печальный писатель Канович
еще помнит его. Там до дыр зачитали талмуд,
там не хуже раввина собаки, коты и коровы
понимают на идиш и птички на идиш поют;
там на каждый жилет — два еврея, четыре заплаты,
там на каждую жизнь — по четыре погрома, по три...
Там еще Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы,
балагулы, сапожники, шорники и шинкари.
Их скупому дыханью звезда запотевшая светит,
их смазным сапогам — из полей палестинских песок...
Эмигранты империй, соломоновы бедные дети,
на повозках молитв отбывающие на восток...

Дай им, господи, сил, дай им кихелах сладкие горы,
километры мацы и куриных бульонов моря...
Грустно жить на земле, где еврейское горе — не горе,
трудно жить в городах, где не все понимают меня.
Там, где даль мне поет, там, где ночи о прошлом долдонят,
там, где бамовский шов в прибайкальскую летопись лег,
кто услышит меня и какой мне Канович напомнит
мир еврейских местечек со львами его синагог?
Кто мне лавку откроет, где молятся полки о хлебе,
кто мне тору раскроет, которую слезы прожгли,
кто укажет перстом на скрипучую лестницу в небе,
по которой однажды за счастьем еврейским ушли
Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы —
поэты,
балагулы, сапожники?.. Кто загрузит обо мне,
прочитавши о том, как ушел я по лестнице этой
в мир еврейских местечек —
на родину, в небо, к родне?..

ВИЗИТ

Тетя Нехама уселась
на чемодан и сказала:
— Здравствуйте, я ваша тетя! —
А дядя Ефим сказал:

— Допустим, вы наша тетя,
но чем вы докажете это? —
А дедушка Лейб согласился:
— Должен быть документ.

Тетя всплеснула руками
и закричала:
— Мерзавцы,
биндюжники, мародеры,
я ваша тетя, и все!

— Это другое дело, —
сказала бабушка Эстер.
— С этого бы и начинали, —
дядя Ицик сказал.

И все закричали «вейзмир»,
бросились к тете Нехаме,
стали кричать и плакать
на несколько лет вперед —

ровно настолько, насколько
смерть была терпелива.
Потом она тоже сказала:
— Я ваша тетя, и все!..

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

В ПОЕЗДЕ БЛИЗ ПРОСКУРОВА

Я проснулся от внятного идиша:
говорили старик и старуха.
Эти нежные звуки я, видишь ли,
разбираю немного со слуха.
Как потомок Алеши Поповича
и как сам по себе, не заместитель, —
у Прокофьева и Шостаковича
я расслышал еврейские песни.
Разговор шел о дочке и сыне,
говорили Ревекка и Хаим.
Я проснулся, меня не спросили,
я ответил: — Лехайм!

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ

Юность самолюбива.
Молодость вольнолюбива.
Зрелость жизнелюбива.
Что еще впереди?
Только любви по горло.
Вот оно как подперло.
Сердце стучит упорно
Птицею взаперти.

Мне говорят: голод,
Холод и Божий молот.
Мир, говорят, расколот,
И на брата – брат.
Все это мне знакомо.
Я не боюсь погрома.
Я у себя дома.
Пусть говорят.

Снова с утра лило здесь.
Дом посреди болотец.
Рядом журавль-колодец
Поднял подобья рук.
Мне – мои годовщины.
Дочке – лепить из глины.
Ветру – простор равнины.
Птицам – лететь на юг.

АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ

И нет желанней ничего,
чем образ края моего.

Бальмонт

Поэтом какого народа
себя мне по праву считать?
Мне матерью стала Природа,
а вовсе не Родина-мать.

Еврейские прадеды прахом
удобрили почву полей.
Потомки живут с тем же страхом
погибнуть за то, что еврей.

Есть польская кровь в моих жилах.
Она превращается в стынь,
лишь только разверстой могилой
встает пред глазами Катынь.

Я русский по праву дыханья,
причастия слез и беды,
но холода слов осознанье
впечатало душу во льды.

Поэтом какого народа
себя мне по праву считать?
Мне матерью стала Природа,
а вовсе не Родина-мать.

*HOMO FUGAX**

Ты бежишь, но за кем же? Сверкают осенние лужи.
Холода и тоска, ширь застывших белесых полей.
Важно вовремя вспомнить, кому ты пока еще нужен,
и молиться звезде, от которой на йоту теплей.

Безнадежность погони за призраком прели и дыма.
Бесконечность побега от прошлых непрошенных лет.
Беспилотность полета. Серебряный северный климат.
Бесполетность судьбы в отражении стекол-анкет.

От страдания к скорби. И серые стылые плиты.
Ты бежишь все скорей, да и можешь ли ты не бежать?
По дороге бетонной везут только тех, что убиты.
Пусть увозят. Иначе поднимется страшная рать.

* Человек бегущий (*лат.*)

ВЕРОНИКА ДОЛИНА

Уезжают мои родственники.
Уезжают, тушат свет.
Не коржавины, не бродские.
Среди них поэтов нет.
Это вот такая палуба,
Вот такой аэродром.
Ненадрывно, тихо, жалобно —
Да об землю всем нутром.

Ведь смолчишь, страна огромная,
На все стороны одна,
Как пойдет волна погромная,
Ураганная волна?
Пух-перо еще не стелется,
Не увязан узелок.
Но в мою племяшку целится
Цепкий кадровый стрелок.

Уезжают мои родственники.
Затекла уже ладонь.
Не рокфеллеры, не ротшильды —
Мелочь, жалость, шелупонь.
Взоры станут неопасливы,
Стихнут дети на руках.
И родные будут счастливы
На далеких берегах.

Я сажу, чаек завариваю,
Изогнув дугою бровь.
Я шаманю, заговариваю,
Останавливаю кровь.
Если песенкой открытою
Капнуть в деготь, не дыша,
Кровь пребудет непролитою,
Неразбитою — душа.

ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ

ИСХОД

Сомкнулись громадины вод.
Исход из Египта закончен.
На бреге туманном народ
безбожен еще и порочен.

Но свыше указан маршрут.
Слух: истина будто иная
открылась вдали от Синая...
И люди к открытию прут.

Набившие длань мясники,
бараны, козлы... октябрюта —
невинные, в общем, ягнята —
в потоке железной реки.

Отряды воров и менял,
стоящих во тьме у кормила —
режима секретная сила,
бесценный вождей матерьял...

Вития, ушедший в запой,
мессия, одетый по моде —
к подножию шумной толпой
спешат, как цыгане к свободе.

Им новый дается закон
и новые вносят скрижали
жрецы, что сей люд испокон
как грязь сапожищами жали.

И славят с трибун дураки,
и правят на площади урки,
и всем рукоплещут придурки —
у страха глаза велики.

Лишь гений все смотрит вперед
сквозь липу победных отметок —
туда, где пустыня грядет
на восемь пустых пятилеток.

Где больше не светится высь,
где, прочих святынь не имея,
от ужаса можно спастись,
молясь на зеленого змея.

Где в сердце от скорби темно
и жизнью вовек не напиться...
Где нам умереть суждено,
чтоб истине снова родиться.

Где подлю ликует порок,
где нет больше грани и меры
у сдавшей сражение эры,
которой не нужен пророк.

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

И вот я здесь: похоже, навсегда. Пришпиленный к земле с названием кратким, на ней живу я — в ней, как овощ в грядке, и пролежудо Страшного суда... Не знаю, кто меня определил стать раком у российского безрыбья, но, верный раб бумаги и чернил, я сам себя однажды сочинил — и не к земле, а к языку прилип я. И в годы перестроечных приправ к горячему с партийного мангала кириллица держала за рукав, когда друзей ивритом вымывало.

Мне не ОВИР мешал, а в горле ком — и я не потянул за косяком...

ИЗ ДНЕВНИКА

(2 ноября 1991 года)

Я живу в измученной стране.
Я стою за молоком и хлебом.
В очереди, столбиком нелепым,
Я стою со всеми наравне.

И, меня держа за своего,
Очередь хранит свою ментальность,
И не замечает ничего,
И прощает за национальность.

Но едва священный Аполлон
Слуха чуть подмерзшего коснется,
Очередь немедля встрепенется
И покатит на меня баллон.

К горним высям музами влеком,
Огребу от каждого мудилы
И за то, что скисло молоко,
И за то, что хлеба не хватило.

«С чего начинается Родина?»
С того, что напомним тебе,
Что ты иностранец, юродивый
В здоровой российской семье.

Что от Сахалина до Кинешмы
Ты — щепка в глазу большинства,
Что дед твой, под Волховом сгинувший, —
Не повод еще для родства.

Поверить ли, что ли, им на слово,
Вещички, как просят, собрать
И возле таможни неласковой
В стерильные руки отдать

Дорог незалеченных кашицу,
Российский расхристанный лес —
И песню, которую, кажется,
Впервые исполнил Бернес...

Как ни странно, но хочется жить —
Несмотря на отсутствие дворников,
Соли, мыла, незанятых столиков,
Овощей и бессмертной души.

Несмотря на ГлавПУР, Карабах,
Черта в ступе и дырки в зубах,
Невзирая на перечень весь,
Как ни странно, но хочется — здесь...

ЗДЕСЬ

Здесь робеспьеров больше нет и больше нет
наполеонов,
здесь полустанок еле-еле освещен,
но можно завтра расстрелять еще сто сорок
миллионов —
и послезавтра будут требовать еще.

Покоя здесь в заводе нет, но воли хватит у любого,
чтоб выбить чек и дослужиться до звезды.
Здесь есть просветы в облаках, Госплан, Главлит,
свобода слова —
и только в кране регулярно нет воды.

Здесь дом построят на глазок, а соловьи спокуют
по нотам,
здесь тьма чернее и пронзительнее свет,
здесь нет пощады мудрецу, но есть поблажка
идиоту —
и есть надежда здесь, когда надежды нет.

ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ

ЕГО

Я семя будущих зачатий.

М. Волошин

Я — зрелое семя грядущих зачатий.
Я — клятвенный знак нерожденных явлений.
Во мне совместились: и вопли проклятий,
И звенья времен, и пласты поколений...

Пески Палестины и письма Синая,
Чья мудрость — лишь с Вечностью соизмерима.
Где самая тщетная малость земная
Своей благотворностью неповторима.

Где брат не поднял еще руку на брата,
И облик империи кровь не омыла,
Где спят облака в оболочке заката,
Как будто обломки античного мира.

Где Ева с Адамом (еще до изгнания) —
Бегут, захлебнувшись чудесным цветеньем,
По райским садам, подбирая названья:
Букашкам и птахам, камням и растениям...

Где к мукам земным не изведаны тропы,
И род наш не начат, и плоть не распята,
И Ноев ковчег, избежавший потопа,
Еще не споткнулся о грудь Арарата.

Где все еще сладок клокочущий воздух
В гортани пространства... И льются Осанной
Живые слова, превращенные в звезды —
Над черною тайной земли безымянной.

Я на дне. Я печальный обломок.
И. Анненский

Я свободой бесплатно владею,
Я лежу, как обломок на дне,
Вспоминая свою Иудею,
Потонувшую в красном огне.

Надо мною сгущаются тучи,
Неподвижно стоят облака,
Чьи тела, словно жирные туши
Рубит дождь на манер мясника.

На плечах каменеет сорочка,
И на гребне вечернего дня
Бьется жизни кровавая точка,
Но уже в стороне от меня.

А вокруг — кумовство и мытарство,
Где бесплодно цветет колдовство,
И чем дальше я от государства,
Тем прозрачней мое существо.

В ОЖИДАНИИ ПИСЬМА

В белом конверте
Черный листок
Вестью о смерти
Метит в висок.

Белый, опрятный,
Как простыня,
Адрес обратный
Скрыл от меня.

Горечь прозренья
На языке,
Вместо презренья –
Виза в руке.

Может быть, это
Выслал Сион
Мне с того света
Льготный талон.

Из беспредела
Рвется спеша
Смертное тело,
А не душа.

Божий ровесник
Жестокосерд:
Черный предвестник,
Белый конверт.

ИСХОД

Замышляю побег,
Хоть навек обречен быть твоим скоморохом, эпоха!
Средь блаженных калек
Вряд ли встретишь в Сибири-стране веселей скомороха.

Но я сделаю шаг,
Оттолкнувшись от стилия барака и гнили «барокко»,
Черносотенный шлак
Променяв на гарем аравийской пустыни Востока.

Пусть загнусь, пропаду,
Пусть беда мне поставит подножку..
Я плевал на беду,
Как на самую мелкую сошку.

Пусть замерзну в снегу,
Окрыленный тюремным простором затей нелегальных, —
Все равно побегу
Я от шишек борзых и от вышек лягавых.

Кровь сочится из-под
Обмороженных выюгой ногтей, и железное небо пробито,
Ибо этот исход
Грандиознее, чем из Египта.



Свет и мрак



Встреча



Птица в ночи



Орлан



Похититель луны



Γοφ



Рыбы



Лесная птица

ИЗРАИЛЬ

РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ

ПРОГУЛКА

Анне Ахматовой

Ты сегодня особенно как-то тиха,
Королева стиха.

Мы с тобою идем по жнивью.
Я молчать тебе вдоволь даю.

И сама я охотно молчу,
Молча думаю то, что хочу.

Я люблюсь в тиши средь полей
Горделивой осанкой твоей,

Властным взглядом, решительным ртом,
Словно сжатым Великим постом.

Жизнь твоя у Руси на виду.
Я, сестра твоя, рядом иду.

Рост мой мал, я сутулюсь слегка,
За спиною — страданий века.

Хоть и царской я крови, как ты.
Я взирать не могу с высоты.

Мой народ, для кого я пою —
Разве слышит он песню мою?

Песню отняли злые враги.
Королева, сестра, помоги!

Мне не надо ни стран, ни морей,
Ни чудесной короны твоей,

Только песню заставь их вернуть.
...Мы с тобой продолжаем наш путь,

Мы идем по жнивью не спеша.
Надрывается молча душа.

Впереди простирается лес.
Тишина вопиет до небес.

ЦХАЛТУБО – МОСКВА

Я еду с юга к северу.
Из Грузии в Москву.
И мне запомнить хочется
Зеленую траву,
Вот этот лес коричневый
У птичьих стай в плену,
Здесь сразу после осени
Встречает он весну.

Исчезли виды мирные
Пасущихся овец,
И небольшая станция
Зовется Тихорецк.
Еще тепло и солнечно,
И впереди Ростов,
И все ж к похолоданию
Ты внутренне готов.

Но вот уж небо выцвело,
Растительность скудной,
Повеяло дыханием
Московских зимних дней.

И по земле морщинистой
(В морщинах снег залег)
Бежит дорога мерзлая
У сосен из-под ног.

Но ты уже свыкаешься
И с холодом, и с мглой —
Ведь это называется
Дорогою домой.

ПОДМОСКОВЬЕ

В декабре ни холода, ни снега.
В декабре не сани, а телега.
И от теплой влаги во дворе
Почки набухают в декабре.

Эту оттепель клянусь теперь я.
Нет к ней больше моего доверья.
Знаю я, как вымерзают почки,
Как морозом обжигает строчки,
Как сшибает зимний ветер с ног
В оттепель поверивший цветок.

ДВА БЕЛЫХ ДОМИКА

Два белых домика стоят
Перед моим окном в лощине.
Над ними синий воздух стынет
За ними гор библейских ряд.

Я сотни перьев изломаю,
Свои порастеряю дни
И никогда я не узнаю,
Чьей жизнью полнятся они.

Лишь беглой мыслью их коснусь я.
Вдруг наплывет мне на глаза
То ль Украина, то ль Белоруссия —
Два белых домика, коза...

Два белых домика в Казани.
Два белых домика в Крыму,
Простых, без всяких притязаний,
Но милых сердцу моему.

Я снова отвлекусь, забуду,
Разыскивая тщетно суть.
Но все подвержены мы чуду
Когда-нибудь и где-нибудь.

Года расступятся, как тени,
И будут пред окном опять
В необходимом отдаленьи
Два белых домика стоять.

САППА ПОГРЕБ

Я начинаю с откоса, с обрыва,
С камня над узкой петливой дорогой.
И своевольна. И терпелива.
Гида не надо — сама понемногу.

Цебра красива. Как розы — в колючках.
Ствол у оливы столетьями кручен.
Нет здесь черемухи, нет жасмина.
Вспыхнувшим порохом пахнут хамсины.
Я отвалила родимую глыбу
И получила право на выбор.
Выбрала небо синего цвета,
Длинное лето. Нерусское лето.

Что еще выбрала, твердо не знаю.
Сердце — открыто. Как рана сквозная.

Мы теперь самаритяне,
Озираемся безмолвно.
Горизонт — как в океане,
И холмов застыли волны.

Все торжественно и скупое,
Ось вращается без скрипа,
И огромный синий купол
За несуетность мне выпал.

Каменистые террасы.
Пятна крон... Внизу – посевы.
В мире нет древнее красок,
Чем оливковый и серый...

Ветер с маху налетает,
Паруса белья мотает,
А над вами снег кружится
И в душе моей не тает.

Пока не могу, не умею
Прижиться от вас вдалеке.
Мы дома, повсюду евреи,
Но что объясню я тоске?

О летние ливни, о запах
Асфальта и мокрой листвы,
О север, где есть Юго-Запад
Несчастной, прекрасной Москвы!

Разлука – жестокая сила.
Дохнет, и зови – не зови.
Но тайно и явно просила,
И чудо мне явлено было
Живучей, как корни, любви.

Пробудиться, когда темнота не как сажа черна,
а уже посерело от первых корпускул рассвета,
Ухватить волоконце сквозь пальцы уплывшего сна —
Боже мой, ерунда — и расстроиться как-то при этом.
— Ничего, — говорю я себе, — ничего. Но зато
Ты увидишь мистерию:
вынырнет желтое солнце
Между двух самарийских пологих кремнистых холмов,
что раскосы и смуглы,
как скулы японца.
Сон уплыл, но куда? Неизвестно куда.
Не туда, не туда ли,
Где жили, дружили, тужили, служили?
Где нас обижали?
Где хаос и напасти. Пахнет кровью от власти.
А листья и лужи — все те же...
И откуда привозит недобрые свежие вести
любой мимоезжий.
Муж уходит к другой. Расстается с женой.
И — бывает, бывает! — детей забывает.
А иной на себе убедится, что сердце, как солнце, —
одно,
и на части неровно его разрывает.
Наконец я на этой земле. Я в еврейской стране,
Чтобы все, что случится, со мною случилось.
А Россия — во мгле...
Но Россия осколком во мне.
Мы бываем вдвоем.
И она мне приснилась.

В июле в том году суровом,
Идет проверка: все ли тут?
На фронт уходят Миша слевой,
Меня с собою не берут.

Отправки ждем. В кулечке — вишни.
Ограда вся в тени берез.
И я за ней, как третий лишний,
Ведь у меня туберкулез.

От Кировской — не по проспекту,
А по Шевченковской крутой —
На запад был прочерчен вектор
С неумолимой прямою.

Идут не быстро. Потихоньку.
Поют. И сбоку я пою
Про казака, что на вииноньку
Поехал и погиб в бою.

Каверна — это плохо дело,
Но, если честно посмотреть,
И я как Левка бы успела
У пулемета умереть.

О, тот прощальный край перрона,
И грохот грома отдаленный,
И руки холоднее льда.
Отцов увозят эшелоны,
Сынов увозят эшелоны,
Увозят милых эшелоны,
Совсем не так, как поезда...

Смертный холод, когда в прикаспийской степи
и во всех, ну во всех раскаленных пустынях
теплоты не достанет — согреть.
И не ноль абсолютный, куда там,
не прорубь, не льдина,
но — завyla собака, и люк отворился на треть.
В эту странную бездну,
в дыру, на задворок,
в антимир —
мы наивно его называем «тот свет»,—
А из мрака сюда
и за сотни веков не проник даже шорох,
чем оправдывал Гамлет терпенье.
А ему оправдания нет.

Мы не стали герои Труда,
Мы терпенья героями стали.
Не в ГУЛАГе.

Платком утирали, а то и рукою, плевком.
Беззаветной идее ломали крыла,
но и нынче бы царствовал Сталин,
если б бог не прибрал, не помог.

А сердечная сумка моя,
средоточье мое прикипело
К отторгающей
(«...обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй») стране.
Все пытаюсь понять,
до сих пор не смогла, не сумела,
Как ты дышишь, соотчич, привыкший к СО,
без родимой отравы,
Оклемавшись за бурой чертою?
Далече. Извне.

Не знала — ну ни сном, ни духом,
Что вся поклажа станет пухом,
Пушинкой легкой тополиной,
Гудящей песенкой шмелиной.

Без поцелуя и объятия,
Без репетиций и примерок
На босу ногу, в летнем платье
Я перешла в другую веру.

И тотчас обрело значенье
Предметов тихое свеченье,
Плывущее сквозь расстоянья
Не вещество, а состоянье.

О, эти степени нагрева
От замерзанья до расплава!
Многообразие напева
И отклонений от устава.

Родни прибавилось на свете,
А было прежде — маловато.
Сестра далекая мне светит,
И старый тополь вместо брата.

Из Ариэля в Иерусалим...
Вершины и долины молчаливы.
В склоненности седеющих олив
Сквозит намек на ниспаданье иеы.

Намек, что нет, не сгнуло с тобой
То, что взаправду за душой имелось —
И ранний свет, и ворох бед, и зрелость,
И что сбылось, и сколько не сумелось.

И смотрит вниз сквозь сумрак голубой
Созвездие, сльвущее судьбой.
(Пустое! Суть — в эпохе, и в стране,
И в тоненькой не рвущейся струне).

В дороге от хлопот отчуждены,
Мы сваливаем в кучу впечатленья:
Вот склон почти отвесной крутизны,
Вот серый гурт пасущихся каменьев.

Теперь я возвращаюсь в Ариэль,
Ныряет и взбирается автобус...
И гор неповторимых карусель,
Как будто поворачивает глобус.

Я прощаюсь со слякотью.

В первые дни октября
Над Москвой дотемна просевают снежок через сита,
Тороплюсь надышаться скользящею влагой досыта,
Окунуть в эти лужи обувки осенней копыта,
А уж туч волокнистость,
российскую их волокиту
Не затмит для меня никакая на свете заря.

Эта хлябь, эта твердь — на роду мне написанный мир.
Братья в братских могилах.

Над предками чахлые ивы.

И родимыми стали районного ветра порывы,
И залистаны дали, как детские книги, до дыр.

Изложил Шафаревич,
Куняев пристукнул печать —
Про меня, русофобку,
вердикт повсеместно размножен.
Если вправду взашей, и проклятье вдогонку, —
уложим
Серебро нашей речи.
И золота рощицы тоже
(Как растерянно светит, застигнута днем непогожим!),
Чтобы спрятать поглубже. Укрыть.
И потом завещать.

Сонечке и Анюте

Распахнутость чайки возьмете с собою,
И мокрую гальку, и бубен прибора.
Но что вам приснится? Никто не предскажет,
Что сбоку ложится, что на сердце ляжет.

Бурьян по откосам, где тихо и глухо,
Казался мне волей —
поэтому снится.
И с Бугом братается речка Синюха,
И песня на идиш касается слуха,
И низко кружит безымянная птица.

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

Усталый лист с нагих ветвей
Никак не мог упасть,
Хоть ощущал он все больней
Земли зовущей власть.

С него я не спускала глаз,
Но упустила миг,
Когда и он в ветвях погас —
Своей судьбы должник.

А небо двигалось в окне,
Смещаясь на восток.
Мой край холодный жил во мне,
Смещался, длился срок.

Я ощущала плотью всей
Земли зовущей власть,
Но с нищих, но с родных ветвей
Я не могла упасть.

В срединном неверном краю
замыкался мой круг.
Там бледная рощица с ямбом неброским
сроднилась.
Там мысль о Европе в чердачных
картонках хранилась,
Поскольку семье не достался прабабкин
сундук,

Заветный сундук, где надежды хранят
на замке.
Какая Европа?
Чернил бы, да хлеба, да краски,
Да печь растопить, да дверь растворить
без опаски,
А Запад — в альбомах, в нарядном
цветном далеке.
Но круг не замкнулся, и я проскочила —
куда?
Европа не рядом, а рядом шатер
бедуина,
Под вечную землю подложена
вечная мина,
Восток иудейский — вторая любовь
и беда.
Слова не ложатся в свободный
безрифменный стих,
Как лед на скале раскаленной,
мой ямб неуместный,
И губ не смочить этой каплей, студеной
и пресной,
Близ кобальта вод, опаленных, соленых,
густых.
Я к морю спускалась, как прежде
спускалась к реке.
Все то ж снаряженье — анапест, хорей,
амфибрахий.
К молитве вечерней отроги меняют
рубахи.
Восток или запад — лишь билось
бы слово в садке.

Вечерних улиц неуверенных,
Себя не помнящих, потерянных,
Я стала избегать не вдруг.
Бледнел распухший город лицами,
И над фонарными грибницами
Слабел подслеповатый круг.

Бегом по лестнице — и в логово.
Как выстрел, дверца лифта хлопала,
Мешая ночь перескочить.
Чего ждала, сама не ведала,
Но повела молитва дедова —
Надежды рвущаяся нить.

И привела. И нить все тянется.
Я возвращенка, я изгнанница.
Не знаю, сколько мне веков.
А солнце, за день постаревшее,
Садится в кресло прогоревшее
Меж каменных пуховиков.

Памяти мамы

Даже песен твоих я забыла начала
И забыла концы — лишь обрывки звучат.
Смолкнув, слово родное ты мне завещала,
Мне об этом твердил пробудившийся взгляд.

Я, транжиря при жизни твоей, после смерти
Без подсказки едва ли словцо воскрешу.
Семью семь сургучей на заветном конверте —
Вскрыть не в силах сама, а кого попрошу?

Слово предков моих иссыхает, забито
Мощной осыпью речи, звучащей вокруг.
Только душу щемит тот напев позабытый,
Тот возлюбленный твой, тот задушенный звук.

Пространство смещено и время сбивчиво.
Назад ли пячусь иль бреду вперед —
Судьба моя в глаза глядит обидчиво
Который век, который час, который год...
Я — иудеянка из рода Авраама,
Лицом бела и помыслом чиста.
Я содомитка, я горю от срама,
Я виленских местечек нищета,
Где ласковые свечи над субботою,
Где мать худа и слишком толст Талмуд,
Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые
Взойдут однажды и меня сожгут...

Я дую в горн, и галстук цвета крови,
Я комиссарша — грозен взгляд мой зоркий,
И я же — заплутавшаяся в слове,
Избравшая безлюдные задворки
Российского стиха, и этой долей
Вернуть бы мне себя, еще одну —
Ту, что когда-то не своею волей
Валила в снег таежную сосну.

Бегут, черноволосы, чернооки,
От черных смут, как сотни лет назад.
Суша земля — лишь беженцев потоки,
И, отторгая древние уроки,
Вновь камни отрясает Арарат.

Бегут, бежим, бежите — вдруг припомним
Зов предков, крови зов... Но позабыв,
Где хоронили мать, себя хороним.
Спасти ли от свистящей вслед погони?
Ров позади, а впереди — обрыв.

Была мне радость только в слове.
Все внове. Но зачем я тут?
Когда два камня в Вострякове
Тоскуют обо мне и ждут.
В удушливых объятьях ветра —
Без голоса и без лица —
Ищу лишь два квадратных метра,
Где тень отца,
Где мамы тень над рыжей глиной
Меж свалкой и березняком,
Где головы моей повинной
Не преклонить. И в горле ком.

ПОСЛЕ ПАСХИ

Вот и закончился праздник пасхальный.
Снова батон, пухлотелый, нахальный,
Не уменьшается в сумке прозрачной.

За ночь с прилавков смахнули мацу.
Все ли оплачено,
Что предназначено?
Может, блуждания подходят к концу?

Белая скатерть в пятнах от сока.
Сдвинут, задвинут торжественный стол.
Обетованная радость далеко.
Кто из нас в Землю Святую вошел?

Новая убрана на год посуда.
Сбивчивый, был ли услышан кадишь?
Как мы устали, как хочется чуда!
Господи, что ж ты с укором глядишь?

АВТОБУС В НЕГЕВЕ

Вечер. Автобус. Полюшко-поле.
Детство. Отец. Померещилось, что ли?
Смуглый красавец крутит баранку
В такт, словно старую крутит шарманку.
Эхом протяжным — поле в пустыне.
Пахнет жнивьем иль настоем полыни?
Неуловимые льются слова.
Плещется детство, всплывает Москва.
Папа насвистывает негромко...
На окоеме черная кромка.
Все перемолото. Все отзвучало.
Брось. Позабудь. Начинаем сначала.
Не допетляла дорога покатаая,
Не дотяло солнце патлатое,
Из нескудеющего сосуда
Тушью окатывает верблюда
И совмещает единою волей
Сполох в пустыне и полымя в поле.

Но где их обучали танцевать —
На зимних пересылках или в гетто?

Отель прибрежный. Бархат и парча.
Седой Давид склоняется пред Номи.
А у нее рукав скользнул с плеча,
И обнажился вросший в тело номер.

Усердно отбивает свой чарльстон,
Не думая о прошлом и грядущем.
В багровых водах тонет небосклон,
А ритм все чаще, а забвенья гуще.

Неужто, чтобы жить одним лишь днем,
Забыв про все предчувствия и страхи,
Пройти по снегу надо босиком
Меж двух штыков к невыдуманной плахе?

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед..

М. Цветаева

Полоумная старуха,
Побирушка на вокзале.
Не вино, а бормотуха
В замутившемся бокале.
Бормочу свои хорей,
Бормотухой заливаю.
Что славяне, что евреи —
Я тихонечко, я с краю.
А в башке, чугунной, пьяной,
Безысходно нежность тлеет:
Ночь течет на лес багряный,
Камень под луной белеет.

НИНА ВОРОНЕЛЬ

Я не хочу опять вернуться в детство
Не потому, что в тучах грозových
Вершилось историческое действо
В тридцатых, а потом — в сороковых.

Я не хочу опять вернуться в юность
Не потому, что в пятьдесят втором
История испуганно запнулась
О грубо приготовленный погром,

Не потому, что свет шестидесятых
Мне чем-нибудь дороже и милей,
Не потому, что мой земной достаток
Надежно привязал меня к земле.

Я просто не желаю возвращаться
К тому, что не забыто навсегда:
К мучительному ожиданию счастья,
К тревожному неверию в себя,

К разладу между смехом и слезами
И к вечерам, заполненным тоской,
И к первому моменту осознания
Великой разобщенности людской.

И я боюсь, что той, одной из тыщи,
Дороги не увидит мой двойник,
Что он по возвращеньи не отыщет
Ни бед моих, ни радостей моих.

ДАН ПРИКАЗ...

Втиснут век в свой цвет и запах,
Как в длину и ширину...
«Дан приказ: ему на запад,
Ей – в другую сторону».
Дан приказ, а им навек бы
Лоб ко лбу, щека к щеке,
Только кровь приметой века
Заскорузла на штыке.
Против ляхов и казаков
Надо ехать на войну,
Но зачем – ему на запад,
Ей – в другую сторону?
Ей бы вскинуться, рыдая:
– Не отдам! Не пожила!
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай!»
Ей бы выть собакой верной,
Ей бы плыть за ним баржой...
«Если смерти – то мгновенной,
Если раны – небольшой!»
Что же ей осталось, бедной,
Просто для себя самой?
«Чтоб со скорою победой
Воротился ты домой!»
Ну, а если без победы, –
Так не примет? Не простит?
Лягут времени приметы
Камнем на его пути.
Умолкает голос крови
Там, где правит крови цвет:
Крови кроме, смерти кроме
Ничего для сердца нет!

АХ, ТОЛЬКО БЫ...

Ах, только бы воли себе не давать,
Когда с ледяных берегов Колымы
Грозит мне сиротство Синайской пустыней,
И нет ничего холодней и постылей
Российской сумы и российской зимы,
Российской судьбы и российской тюрьмы,
Куда не зазорно явиться с повинной,
И где лишь кривые дороги прямы,
И где не зазорно казенной холстиной
Без всяких гробов мертвецов одевать.
Ах, только бы воли себе не давать!

Ах, только бы первой любви не предать,
Когда из глубин поднимается страх,
Когда Увертюрой Двенадцатого Года
Ревет в репродукторах голос народа,
А в сводках атаки и танки в тисках,
И ярость в висках, и останки в песках,
И ясно: в огне не отыщется брода, —
Ведь жизни и смерти лежат на весах,
Ведь жаждет погрома не горсточка сброда,
А родины-мачехи грозная рать.
Ах, только бы первой любви не предать!

Ах, только б остаться самою собой,
Когда в одинокий прозрения час
Я в прошлом себя узнаю среди прочих,
И я в этом прошлом не слово, а прочерк:
У предков моих слишком яростный глаз,
А нос слишком длинный и в профиль, и в фас,
И нет мне березки в березовых рощах,
И нет мне спасенья в Успенье и в Спас,

И предков моих на Сенатскую площадь
Никто б не пустил под штандарт голубой.
Ах, только б остаться самою собой!

Ах, только б найти Ариаднину нить,
Чтоб сердце дотла отреченьем не сжечь,
Когда умножаются правды и кривды,
И каждая правда не стоит и гривны,
А братство лишь с теми, с кем общая печь,
А прочие братства не стоят и свеч,
И только на кровь неизменны тарифы...
Лишь ты остаешься мне, русская речь,
И только распев дактилической рифмы
Сумел бы с Россией меня примирить.
Ах, только б найти Ариаднину нить!

МОНОЛОГ ХРИСТА

Вы были правы, — если верить силе, —
Когда меня распяли на три дня...
Хоть суждено мне жизнь прожить в России,
Россия не похожа на меня.

Когда меня наутро воскресили,
Вы мне на раны пролили елей...
Хоть суждено мне жизнь прожить в России,
Благодаренье Богу, я — еврей,

Вы сочинили истины простые,
Чтоб все грехи перемолоть в муку...
Хоть суждено мне жизнь прожить в России,
Я, все равно, простить вас не могу.

Вы мне не раз за казнь мою грозили
И наново казнили много раз...
Хоть суждено мне жизнь прожить в России,
Я, все равно, не отрекусь от вас.

Я и не жду, чтоб вы меня простили
За все, что вы мне сделали со зла...
Хоть суждено мне жизнь прожить в России,
Она навеки в сердце мне вросла.

ВРЕМЯ УЕЗЖАТЬ

Когда настанет время оборвать,
Как пуповину, все свои привычки,
Все дружбы и любви взять в кавычки
И больше никогда не называть
Ни имени, ни старой детской клички,
Когда настанет время уезжать...

Я обойду весь город, как в бреду,
По переулкам, вымытым морозом,
Под памятью своей, как под наркозом,
По улицам и скверам побреду,
И в целлофан завернутые розы
Протянет мне старуха на беду.

А после всех друзей я созову,
Вина и водки выпью вместе с ними,
Глазами до отчаянья сухими
Заплачу я, наверно, наяву
И позабуду Божеское имя,
Уткнувши в руки пьяную главу.

Когда настанет время уезжать,
Все тот же сон про снег под фонарями
И запах сенокоса над полями
Мне будет сниться снова и опять,
И мне не достучаться за дверями,
Когда настанет время уезжать.

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

Пришла пора прощания с Россией, —
Проиграна игра по всем ходам,
Но я прошу: О, Господи, прости ей
Победный марш по чешским городам!
За череду предательств и насилий,
Заслуженную кару отменя,
Не накажи и сжался над Россией,
Отторгнутой отныне от меня!

Прошу не потому, что есть прощенье,
Что верю в искупление вины,
А потому, что в скорбный час прощанья
Мне дни ее грядущие видны.
Провижу я награды и расправы,
Провижу призрак плахи и костра,
И мне претит сомнительное право
Играть в овечьем стаде роль козла.

И в ореоле надписей настенных,
В истошных криках: «Слава!» и «Хвала!»
Я выпадаю накипью на стенах
Бурлящего российского котла!

СИРОТСКОЕ

Сперва мне было не до шуток
На улицах твоих, Москва,
Язык автобусных маршрутов
Был непонятен мне сперва.

Но мне открылся постепенно
Крылатый смысл твоих кривых,
И я в лицо узнала стены,
И пульс мой к скорости привык.

И настрадавшись до отвала,
Я приняла твои права,
Но неизменно оставалась
Ты мачехой моей, Москва.

Как ни зови, как ни аукай,
Никто не отзовется мне,
И ни в одном из переулков
Мне не зажжется свет в окне.

Меня ни братом, ни сестрою
Не одарила жизнь в Москве:
Лишь с матерью-землей сырою
Сиротство состоит в родстве.

А мне бы только лампу в доме,
Где у стола сидит семья,
Чтоб затянулась на изломе
И на излете жизнь моя.

ЕФРЕМ БАУХ

БЛОК

Четкий профиль. Обветрена медная кожа.
Зачарован предчувствием близкой беды,
он стоит чуть сутулясь, пророк ли, прохожий,
над замшелым гранитом, над тягой воды,

над толпою, над новою яростью жизни.
Но как прежде таинственна даль и тяжка,
но как прежде готовятся вороны к тризне.
Пахнет смертью. Ему еще нет сорока.

Пахнут мылом веселым, шагают деревни
и смеются, плакаты читая с трудом.
Что он ищет, пришелец пророчески-древний,
в Петрограде, до варварства молодом,

где готовятся в будущем лефы и раппы
с корабля современности с песней и в гик
без оглядки арапником выгнать арапа,
что из глины их вынул и дал им язык.

Можно быть благородным и быть благодарным,
быть с эпохой, но как с этой мудростью быть,
если знаешь: Истории зубы коварны,
и проклятия времени не избыть,

и багровое солнце влечет и тревожит,
и усталое сердце вбирает века
и века, и в любое мгновение может
оборваться. Ему еще нет сорока.

Бойкий шум из соседнего слышится тира.
Стать бы скифом, беспечным и хитрым стрелком.
Как он стар всею медленной старостью мира,
всем, что есть, всем, что было и будет потом.

Странен облик эпохи, едва лишь рожденной,
ее цвет, ее запах, и отблеск, и дым.
Над гранитом задумался Блок, окруженный
Петроградом, до варварства молодым.

ПЕСНИ

Вечерний мрак густеет при свечах.
Хотя б на миг забыты все заботы...
Высокая и тяжкая печаль
в еврейском доме, где в канун субботы
молитвенные свечи зажжены,
и голос у молитвы слаб и тонок.
Покачиванье бабкиной спины
на стенах восковых ловлю, ребенок,
припав к буфету, на котором — львы
навек молчат, привстав на задних лапах.
Томит меня недвижимый скорбный запах —
в нем — смесь корицы, воска и айвы,
в нем — голову руками обхватив,
поет иль плачет бабка надо мною,

в нем — львы пустыни сплетены с лозою,
и бабкиной пропитаны слезою
тягучий их орнамент и мотив.

В тысячелетьях разве только миг дашь
тому, что в песни бабушка поет.
Печальнейшее слово «бесамигдош»*
ребячью душу мучит и влечет...

А город в звоне, кликах и молебстве,
там — в центре, — топот, возбужденье, гул,
и свет реклам. В румынском королевстве
предвыборной кампании разгул —

гардисты там гуляют и кузисты,
погромщики невиданных мастей...
В домах еврейских, жалких, неказистых,
дрожат и ждут непрошенных гостей.

Я мал совсем. Уже боюсь погрома.
С томящим страхом мне в наследство дан
среди города — фашистский знак огромный,
весь в лампочках и оклик «Мэй, жидан!»**

Темно и смутно. Год тридцать девятый.
Закрыты ставни. Сумрак настает.
Отец, и мать, и папиных два брата,
и дед — сидят. А бабушка поет.

Дрожат слова, и смысл их прост и вечен,
почти что шепот, а похож на крик,
как свист бича, вжигается мне в плечи:
«Еврей, пошел! Реб идыню, цурик!»***

* Буквально святой дом. Здесь: Иерусалимский храм после разрушения (*ивр.*).

** Эй, жид (*ивр.*).

*** Еврейчик, назад (*ивр.*).

Домой идти боятся. Ну и ночка.
И дядя — врач, оставшись до утра,
волнуется и трет очки платочком,
и так спасенья ждет из-за Днестра.

Все сбудется. Дождется дядя красных.
На север будет выслан. Там умрет.
Проходят годы... Небо в звездах ясных.
Закрыты ставни. Бабушка поет.

Стоят в затылок. Пот, жара, удушие.
Пощады нет ни юным, ни седым.
Какая тяга? В небе тают души.
И подпирает звезды мертвый дым.

Собачий брех летит в ночи весенней,
молитвы плач или истошный крик.
Огромн мир. И нет путей спасенья.
«Еврей, пошел?! Реб идыню, цурик!»

Так будь героем. Гибни, и надейся!
Пади на пулемет. Иди ко дну!..
«Еврей!? Им бы только — кровь младенцев!
Они в Ташкенте видели войну!»

Темно и смутно. Год сорок девятый.
Закрыты ставни. Сумрак настает.
Погиб отец. И два погибли брата.
И умер дед. А бабушка поет.

Уже врачей без племени и рода
везут в тюрьму! Товарняки в пути —
уже от гнева русского народа
евреев собираются спасти!

Смиренье в песне — не печаль, не ропот —
и страх в крови у старцев и птенцов
становится привычкой, входит в опыт,
передается детям от отцов.

Спасенья нет, ведет в тупик дорога!
Не веря, не надеясь, и дрожа,
от лагеря, от ссылки, от острога
мы выбрались по лезвию ножа...

Напев еврейский. Где б его ни пели,
да будь он ни о чем и ни о ком, —
я камнем становлюсь среди веселья,
и к горлу в миг подкатывает ком.

Мир стал иным, во всем блюдет приличья,
зло на добро мечтает заменить.
Мир на глазах меняется в обличье.
Но в старой песне слов не изменить.

Вглядись — и в лицах, вежливых и гибких,
погромщик ярый выступит на миг.
В отказе, снисхожденье ли, улыбке —
«Еврей, пошел! Реб идыню, цурик!»

ПОТОП

Я погружаюсь в медленные сны,
как в соты, что извилисты, тесны.

Всплывает Днестр, швырнув к моим ногам
воды кривой и лунный ятаган.
Мне в даль бежать — к ночным лугам, стогам.

По лету птичьих стай — то тишь, то гам.

Но в сотах тесно: что ни поворот —
и вновь я у родительских ворот

стою средь теплой августовской тьмы.
Была война. Потом вернулись мы
в родные приднестровские места.
Над отчим домом — силуэт моста.

Я проводил ее за парк ночной,
а городок затоplen тишиной.
И отчий дом, не тронутый войной,
устало дремлет среди дряхлых лоз.
Над кровлею стоит Небесный Воз.

И чуть скрежещут днища на реке.
И дверь на металлическом крюке.

И, рассыпаясь, старый пол скрипит.
Скрипуч и гол послевоенный быт.

Скрежещут днища. Выплеснется сом.
А дом замыт, залит, затоplen сном:
спит папа мой, погибший под Москвой,
и дед, что стал цветами и травой,
и бабушка уснула над плитой.

Небесный Воз над каменной плитой.

И мама наклонилась надо мной:
«Да я жива, не бойся, мальчик мой,
а то, что показалось: чей-то стон
был деревянной лодкой унесен,
землею и годами занесен —
досадная заминка, глупый сон».

И упаду в постель, легко вздохну.
В матрац вращая, словно зуб в десну,
во сне глубоком отойду ко сну,
чтоб вдруг вскочить во времени ином.
Девятый час, гудит, как улей, дом.
Троллейбусы, машины — под окном.

Сын — в школу. Дочка — в садик. Жив-здоров,
плыву, простертый между двух миров,

а время бьет из всех щелей и пор,
смыкается над маковками гор.

Потоп всемирный. В небо не взлетишь.
По лету птичьих стай — вода и тишь.

И Атлантидою под толщей вод
мне видится кочующий мой род,

и предков цепь — людей до сорока —
протянута ко мне через века
изгнаний, унижений и могил,
но коль я жив, то в них я тоже жил,
и тяжелой кровью ханаанских жил
я связан с глубио дремлющих времен,
и мой ковчег — не выдумка, не сон —

в воде веков мерцает, словно щель,
полоска светом залитых земель —

выносит из пучин и туч Восток
родных кочевий скалы и песок —
святых земель — в прогалы тьмы и бед —
мне светит слабый долгий-долгий свет...

АДА БРУН

ЯД ВАШЕМ. МЕМОРИАЛ ПОГИБШИМ ДЕТЯМ

...Темно. Плывим в пространстве
беспредельном,
и только звезды в темноте мелькают.
То души маленьких замученных детей.
Их имена и звуки метронома
тревожат совесть, пробуждают память...
Живи и помни. Помни — мы евреи,
мы мечены той метой навсегда.
Всевышний пробуждает нашу совесть,
но если вдруг заснет она случайно,
враги о ней напомнят непременно...

.....

...Прошла я по аллеям Яд Вашема,
где новые посажены деревья,
людей там много — изо всей Европы —
тех праведников, кто спасал евреев,
и не было там только россиян.

В России я встречала много добрых.
Неужто праведников вовсе не нашлось?

«Караю ненавидящих меня до третьего колена», — сказал Господь, и покарал детей и внуков их: разрушил государства гонителей евреев, привел к болезням, смерти — покарал! что надлежит нам делать ныне? сеять смуту? копить бумаги? помнить старые обиды? ведь братья нищие приехали в ваш дом, а вы их превращаете в рабов и заставляете забыть всю прошлую их жизнь. или они уж не евреи вовсе? и разве так Всевышний повелел?

...должны сказать спасибо россиянам за то что нас держали в черном теле и вынудили землю ту покинуть. Но прав Господь — жестоковыйный мы народ и молимся маммоне — не Ему. А в административном здании Яд Вашема просторно, чисто, пусто — красота! И носят в комнаты различные бумажки. Нет, право, стоит им же подсчитать, а скольких о́лим хватит здесь от них кондрашка! По крайней мере здесь умрет их больше, чем от погромов в нынешней России. Вы новых о́лим: как дела — спросили? И что же вам ответили они? «Ма шми?»*

* Как мое имя? (*иср.*)

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

ГАРИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

*(Из главы VI
«Господь лихую шутку учинил,
когда сюжет еврея сочинил»)*

*

Везде, где не зная смущения,
историю шьют и кроют,
евреи — козлы отпущения,
которых к тому же доят.

*

И сер наш русский Цицерон,
и вездесущ, как мышь,
а мыслит ясно: «Цыц, Арон!»
и «Рабинович, кыш!»

*

Туманно глядя вслед спешащим
осенним клиньям журавлей,
себя заблудшим и пропащим
сегодня чувствует еврей.

*

Льется листва, подбивая на пьянство;
скоро снегами задуют метели;
смутные слухи слоются в пространство;
поздняя осень; жида улетели.

*

Евреи клеветуют и хают,
разводят дурманы и блажь,
евреи наш воздух вдыхают,
а вон выдыхают — не наш.

*

Во тьме зловонной, но тепличной
мы спим и слюним удила,
и лишь жидам небезразличны
глухие русские дела.

*

В года, когда юмор хиреет,
скисая под гласным надзором,
застольные шутки евреев
становятся местным фольклором.

*

Везде, где слышен хруст рублей
и тонко звякает копейка,
невдалеке сидит еврей
или, по крайности, еврейка.

*

Нет ни в чем России проку,
странный рок на ней лежит:
Петр пробил окно в Европу,
а в него сигает жид.

*

Царь-колокол безгласен, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
и ясно, что евреи виноваты,
осталось только летопись найти.

*

Евреи продолжают разъезжаться
под свист и улюлюканье народа,
и скоро вся семья цветущих наций
останется семьей без уroda.

*

Кто шахматистом будет первым,
вопросом стало знаменитым;
еврей еврея портит нервы,
волнуя кровь антисемитам.

*

Перспективная идея!
Свежий образ иудея:
поголовного агрессора
от портного до профессора.
Им не золото кумир,
а борьба с борьбой за мир;
как один — головорезы,
и в штанах у них обрезы.

*

Свет партии согрел нам батареи
теплом обогревательной воды;
а многие отдельные евреи
все время недовольны, как жида.

*

У власти в лоне что-то зреет,
и, зная творчество ее,
уже бывалые евреи
готовят теплое белье.

*

В российской нежной колыбели,
где каждый счастлив, если пьян,
евреи так ожидали,
что пьют обильнее славян.

*

Раскрылась правда в ходе дней,
туман легенд развеяв:
евреям жить всего трудней
среди других евреев.

*

Случайно ли во множестве столетий
и зареве бесчисленных костров
еврей — участник всех на белом свете
чужих национальных катастроф?

*

Изверившись в блаженном общем рае,
но прежние мечтания любя,
евреи эмигрируют в Израиль,
чтоб русскими почувствовать себя.

*

Новые затеявши затей
и со страха нервно балагурия,
едут приобщаться иудеи
к наконец-то собственной культуре.

*

Вечно и нисколько не старея,
всюду и в любое время года
длится, где сойдутся два еврея,
спор о судьбах русского народа.

*

Есть тайного созвучия привет
в рифмованности вечности и мига.
Духовность и свобода. Свет и цвет.
Россия и тюрьма. Еврей и книга.

*

Евреи размножаются в неволе,
да так охотно, Господи прости,
что кажется — не знают лучшей доли,
чем семенем сквозь рабство прорасти.

*

По всем приметам Галилей
(каким в умах он сохранился)
был чистой выделки еврей:
отрекся, но не изменился.

*

Еще он проснется, народ-исполин,
и дух его мыслей свободных
взовьется, как пух из еврейских перин
во дни пробуждений народных.

*

Евреи лезут на рожон
под ругань будущих веков:
они увозят русских жен,
а там — родят большевиков.

*

Евреи топчут наши тротуары,
плетя о нас такие тары-бары,
как если сочиняли бы татары
о битве Куликовской мемуары.

ИЛЬЯ ЛИРУЖ

На московских кухнях в Тель-Авиве
За стаканом терпкого вина
Сколько мы ночей проговорили,
Сколько лет исчерпано до дна...

Жалюзьями здешние квартиры
От России не защищены.
Робких писем редкие пунктиры
Позабыты или прощены.

Годы одиночества и грусти,
Горечь от разрывов и обид
Не искупит встреча. Но отпустит
Душу боль... Она еще саднит.

В Тель-Авиве и в Иерусалиме
За привычным кухонным столом
Говорят евреи о России.
О России, это — о своем...

«Отщепенцы и космополиты» —
Диссиденты и отказники
Все решают русские конфликты,
Все читают русские стихи.

Ни о чем сегодня не жалея,
Завершив свой собственный Исход,
Остаются русскими евреи,
Из России выбитые в лоб.

Пусть над ними в маревом рассвете
Вместо звезд рубиновых Кремля
Синагоги, церкви и мечети
Поднимает древняя земля, —

Но в холмах библейских Ханаана
От московских улиц вдалеке
Бог Иакова и Авраама
Шлет им сны на русском языке...

Ну, что там у тебя в душе!
Дорога ж — к дому.
Ах, — это пыльное шоссе
К аэродрому.

Вот и последний поворот,
И указатель.
Он все сегодня подведет
Под знаменатель.

Его стрела зовет назад —
На Ершала́им.
Еще один последний взгляд
К тебе, Израиль.

Но, чуть касается земли —
Летит наш «о́стин».
Мы здесь родные, мы — свои,
Но только гости.

И мы молчим — к чему слова...
Прощай, Мессия!
А впереди у нас — Москва...
И вся Россия.

А впереди у нас — молва
И дух погрома,
Россия в корчах и Москва...
Но там мы — дома.

Там наша доля и судьба,
И боль с любовью.
Россия — горе и гульба,
И долг сыновний.

Там наше поле и межа,
И те ограды,
В которых матери лежат —
Мы ляжем рядом.

Так что там у тебя в душе! —
Дорога ж — к дому.
Ах — это пыльное шоссе
К аэродрому.

Мы здесь родные, мы свои —
Мы это знаем.

Прости. Прими слова любви.
О, Ершала́им...

ОГНИ ВЕЧЕРНИЕ ЭЙЛАТА
(романс)

Белеет парус одинокий...
М. Лермонтов

Дыханьем знойного Синая
Залив эйлатский опален.
Закатным золотом сияет
Его восточный окоем.
Его прозрачные глубины
Полны коралловых чудес.
И парус почтой голубиной
Скользит с небес, скользит с небес...

Звучит последний луч заката
В покатых камня куполах.
Волшебны сумерки Эйлата
И привкус соли на губах,
И первый блеск звезды высокой,
И бриз над легкою волной,
И парус, парус одинокий,
Который здесь нашел покой...

Волшебен бриг, покорный бризу.
Пьяня, как терпкое вино,
Он мчит в Эйлат, к родному пирсу,
Где непременно ждут его.
И сердце сладко и тревожно
Стремится с бригам наравне.
И кажется, что все возможно,
Как в детском сне, как в детском сне...

И невозможная когда-то
Твоя мечта в часы тоски:
Огни вечерние Эйлата
Так достижимы, так близки.
И что в тебе не отозвалось
На зов мерцающий огней!..

...Но белый лермонтовский парус
В душе твоей, в душе твоей...

НАУМ БАСОВСКИЙ

Что проку подгонять: копай скорее! —
Могила ведь не сад, не огород!..
По всей России заросли пырея,
и жесткий дерн лопата не берет.

Наточен заступ, не иссякли силы,
а все-таки копается с трудом.
По всей России отчие могилы,
и только не понять, где отчий дом.

Нам снова в этом праве отказали —
жить на земле, жалея и любя.
По всей России дерн перед глазами:
родных, надежды и самих себя

мы только-то и знаем что хороним.
Вот снова гроб выносят из дверей,
и вся Россия взглядом посторонним
глядит на яму, заступ и пырей.

В российском городе N — центре убогой провинции
утром много птичьего щебета, вечером — собачьего лая,
и в числе достопримечательностей — извини, подвинься! —
хоромы кого-то из Шуйских и музей Миклухи-Маклая.
В российском городе N не зря не любят селиться птицы:
по свойству местности здесь высота
не чревата головокруженьем.

И еврей, единственный в городе, не торгует и не суетится,
а работает в школе и занимается стихосложением.
В российском городе N любое стремление вверх
по свойству местности уравновешено давлением сверху;
здесь можно жить и писать год, и десять, и век,
в полной безвестности, лишь с вечностью делая сверку.
В российском городе N отлял последний пес.
По свойству местности здесь ночи длинны
даже в разгаре лета.
И каждую ночь поэт задает один и тот же вопрос:
«А что я делаю здесь?» И не находит ответа.

АНФИЛАДА

При обмене квартиры — хоть верь, хоть не верь —
выпал мне вариант наподобие клада:
в кабинет долгожданный тяжелую дверь
открываю неспешно — а там анфилада.

И за первой же дверью загадкой сплошной
старый «Зингер» грохочет сродни автомату:
мой отец, до войны знаменитый портной,
сочиняет изысканный фрак дипломату.

За дверями резными из двух половин
я, опять поражен, прикипаю к порогу:
это ж старый мой дед, местечковый раввин,
надевает свой талес, идя в синагогу.

Третья дверь. И за ней — словно капли дождя;
к чудесам и привыкнуть могу постепенно.
Вот уже догадался, еще не входя:
это польский мой прадед играет Шопена.

Чтоб из жизни моей, непростой, непрямой,
в суете не ушло ощущение лада,
уходящий во тьму род неведомый мой,
как в обратном кино, мне дарит анфилада.

Завертелся назад вековой календарь,
затаил я дыханье, восторженный зритель:
там немецкий торгаш и голландский шинкарь,
брадобрей в Монпелье и в Альгамбре строитель.

Как возвышенно каждый из рода хорош,
и какие все тонкие, добрые лица!
Но на новом пороге вдруг бьет меня дрожь,
и во тьму анфилады боюсь углубиться.

Через жуткую толщу событий и лет
разглядеть я могу продолженье любое.
Нужно дальше шагнуть — а дыхания нет:
африканский самум опаляет обои.

Вот обуглился край голубого листа,
вот пожухли цветы золотого узора...
Оглянулся назад. Анфилада пуста.
Тут уйти от судьбы — не уйти от позора.

БАЛЛАДА ПАМЯТИ

Старухе скоро восемьдесят лет.
Она похожа на живой скелет.
А впрочем, для своих годов бодра
и чувствует себя прилично.
А в доме никакого нет добра,
лишь потемневший крест из серебра.
Она читает иногда Завет
и верит в Бога просто и привычно.

Для всех давно закончилась война,
а ей, как прежде, видится стена,
и автомат у той стены строчит, —
живет ее виденье, не старея.
Но что же делать? Помни и молчи!
Ее семью забрали палачи
за то, что в доме прятала она
семью соседа — ветхого еврея.

О, эта четкость — будто бы вчера!
На солнцепеке, посреди двора...
Старуха смотрит в темный лик Христа,
качающийся за двумя свечами,
и, словно поле белого листа,
ее душа спокойна и чиста:
она, должно быть, слишком уж стара,
чтоб это все переживать сначала.

Но в час, когда затеплится восток,
когда занает тупо левый бок,
кто на земле ей может объяснить —
в награду память или в наказание?
А дни идут, прядется жизни нить,
и, ничего не в силах изменить,
глядит с иконы православный Бог
печальными еврейскими глазами.

ИЗВОЗЧИК

Я зимой и летом в облысевшей шапке;
все мое хозяйство — две старые лошадки,
старый кнут плетеный, старая телега
да кусок брезента от дождя и снега.

Вью, мои лошадки! В любую погоду —
по жаре, по грязи и по гололеду —
с облучка спокойно мир обозреваю,
«Бин их мир а фурман»*, — тихо напеваю.

Синагога, лавка, мельница, управа,
и домишки слева, и домишки справа,
и лошадки тянут грустную поклажу,
а тянуть не станут — кнутом их оглажу.

Мне совсем не в радость кнутом их ерошить,
но судьбы телегу я тяну, как лошадь.
И если я вожжи отпущу немного,
надо мной засвищет кнут Господа Бога.

Никаких поблажек — надобно трудиться,
если уж евреем довелось родиться.
Надобно трудиться, пока еще в силе...
Вью, мои лошадки, отдохнем в могиле!

* «Это я, извозчик» (*иср.*) — первые слова старой песни.

АРЬЕ ВУДКА

ЛЕНИНГРАД

Нева. Российский Иордан.
Разгул свинца, гранит угрюмый,
И неба северные думы,
И вечной слякоти дурман.

Одеты в северный наряд,
Наперерез дороге санной
Мечтой томительной и странной
Дворцы Италии стоят.

На всем — тяжелый полусвет,
Как будто тучи с пеплом слиты,
Как будто седина комет
Легла на сумрачные плиты,
И синева до дна испита,
И ярких красок вовсе нет.

Как бред, струение денницы
Сквозь мглу прокладывает путь,
И если руки протянуть —
За небо можно ухватиться.

Все эти каменные сказки —
Болотных мхов блаженный сон,
Невы разгул, капли звон
И мира призрачные маски.

Какая тяжкая решимость
В бунтарке скованных равнин!
Какой размах, неудержимость
Неумолимой, злой волны!

Валы свинцового разгона,
Разверзнув твердь, влекут туда,
Где вместо труб Иерихона —
«Авроры» черная труба.

Веселья нет — спасибо за печаль,
Согретую Твоим пасхальным солнцем,
За тишину и слезы невзначай,
За это невеликое оконце.

Спасибо, что печаль разделена
Неразделимой светлою любовью,
Что истлевает снега пелена,
Не наполняя сердце новой болью.

ПАМЯТЬ

Железные цветы страны железной,
Где каждый шорох смертью оттенен, —
Я помню вашу сумрачную бездну.
Она жива. Она одна не сон.

И я бреду вдоль проволочной рези.
И низок, и тяжел свинцовый свет.
И капельки сияют на железе,
И ничего на свете больше нет.

ХАИМ ВЕНГЕР

А мы еще не верим в чудо,
Тому, что вырвались оттуда.
Еще сомненья нас грызут:
А вдруг, за несколько минут —
Последних самых — перед взлетом
Они нас снимут с самолета
И в каталажку увезут.

Мелькают лица, как в кино,
Друзья приходят и уходят,
Своих друзей с собой приводят.
От дыма в комнате темно,
А нам, ей-Богу, все равно.

Обрывки слов, обрывки мыслей,
Всего не вспомнить, не сказать.
Одни нас просят вызов выслать,
Другие просят обождать.
И вот последний гость простился.
Ему «созреть» желаем мы.
Известно, выйти из тюрьмы
Страшится тот, кто в ней родился.

Родные нас прилечь зовут,
Набраться сил перед дорогой.
Осталось их совсем немного
Часов, о, нет, уже минут!
Сон не идет, ну, не беда,
Ведь мы почти, почти в полете...
Как трудно нашей старой тете
Прощаться с нами навсегда!

А сердце мое не на месте —
Причина предельно проста:
Мне снова хотелось бы вместе
Бродить по знакомым местам.

До боли сжимать твою руку,
Смотреть неотрывно в глаза.
Я ж бросился в омут-разлуку,
Отрезал дороги назад.

Ни сила примера, ни слово...
Огонь мой тебя не зажег.
И, может быть, это сурово,
Но я отступиться не мог.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

Снилось мне, что бабы голосили,
Снилось — от велика до мала
По тебе, умолкшая Россия,
Древние звонят колокола.

Снилось, что в терпении всеильном,
Как Христос, распята и светла,
Ты, молчальница святая, ты, Россия,
Эту ночь со мною пробыла.

Ну что ж, берите, Бога ради,
О чем бы кто ни попросил,
И лишь со строчкой из тетради
Расстаться не хватает сил.

Кружу под тем же снегопадом —
Как кто-то до меня кружил,
Дружу я с тем же, с кем не надо —
Как кто-то до меня дружил,

И тот же край зову в молитвах,
И тот же край зову тюрьмой,
И участь, узкая, как бритва,
Вот так же срежет голос мой.

Иль мы в огне не ищем брода?
Но вновь плывут, как облака,
Все те же воды, те же годы,
Кресты, и версты, и века.

Песнопевцы и пророки,
Слышу ваш призывный глас.
Край родимый, край жестокий
Покидаю. В добрый час!

Кто сказал, что бедный север
Сердцу бедному милей,
Чем полынный, пряный клевер —
Дар прапамяти моей?

Дай мне, Господи, наитье
Петь другую сторону —
Лишь не в силах позабыть я
Песню старую одну.

И едва в полях зальется,
Так, за тройкою спеша,
Вновь заплачет, засмеется
Окаянная душа.

Тройка — с места, тройка — мимо,
Кони скачут день и ночь,
Чтоб у стен Ерусалима
Злюю память перемочь.

Дай мне, Господи, пить
Тот полынный полуденный зной!
Тот потерянный рай
Ты вчера мне вернул не затем ли,
Чтоб смогла позабыть

Окаянный, бездарный, глухой
Этот северный край,
Эту серую горькую землю?

Кто удержит меня?
И какого мне прошлого жаль?
Эти стежки-дорожки,
Дорожки, окошки, оконца...
Ни двора, ни огня,
Ни разлук. До свидания, даль!
Как ты бедно встаешь
В перезвоне холодного солнца!

Пусть мой голос поет,
Обращаясь к живым небесам:
«Оглянись, Суламифь!
Память памяти, в песне воскресни!»
Пусть мой голос поет
По проселкам, полям и лесам
Эту странную нам,
Богоданную нам
Песнь Песней.

И повеет в окно
Незнакомой прохладой с гор.
Я была там давно,
Я припомнила, Господи Боже...
И раскинет мне ночь
Многозвездный высокий шатер,
И шелковый ковер
Мне пустыня постелет на ложе.

И забыть — не забыть
Этот синий, бескрайний, лесной...
И потерянный рай

Ты вернул мне, Господь, не затем ли,
Чтоб смогла отлюбить
Окаянный, бездарный, родной
Этот северный край,
Эту серую горькую землю?

В СТАРОМ ГОРОДЕ

1

Брожу, поддавшись сладкой лени,
В тени заборов и дворов,
Средь пыли, дерева, сирени,
Калиток, зелени, коров.

По городу гуляли гуси,
Ведя неспешный разговор,
И пахли Русью, пахли Русью
Ступеньки, горница, подзор...

А там по улице зеленой
К другим подымешься холмам,
И нет границ земле всхолмленной,
И несть числа колоколам.

2

И кто-то плачет, кто-то пляшет,
И кто-то манит досветла, —
То память мне рукою машет,
То ветер бьет в колокола.

И можно прислонясь к коленям
И глядя в прошлое лицо,
Замкнуть старинное мгновенье
В невозвратимое кольцо.

А где-то далеко — снега России,
До них нам, как до звезд, не дотянуться.
Мы — по другую сторону Земли.
Но надо дальше жить, переплавляя
Живую боль утрат в такую память,
Которая вплетается в судьбу
И правит нами в годы безвременья.
И ничего у нас нельзя отнять.
Она во мне, моя живая память:
Замедленность, застенчивость весны,
Ее ручьев подснежное биенье,
Подснежники, тревожный влажный ветер,
Щемящий дух оттаявшей земли.
Она во мне, моя живая радость:
Игра и перезвон грибных дождей,
И зябкая лучистая сирень,
Которую приносим мы с вокзала,
Черемуховый запах под навесом,
Где мы опять переждеваем дождь,
Промокшее скрипучее крыльцо,
И запах мая, ливня и деревни,
И тень, и сырость дворишков московских,
Поросших одичалою травой,
Каких теперь не много сохранилось...
А там — и лето, плавный поворот
Торжественной реки,
Моя Таруса, Велигож, мой август...
Повсюду память — странность новой жизни:
Лишь кину взгляд на старую открытку,
И ландышевой свежестью потянет.

Из камня тяжкого стремится,
На волю просится душа,
А я под тяжестью страницы
Клонюсь, одышливо дыша.

И все труднее год от года
Мне высечь толику огня,
И мнится – мертвая природа
Одушевленное меня.

И вдруг – на сердце больно, дивно:
Пушится дерево в окне,
Напоминая так наивно
О хрупкой северной весне.

Все серо, зелено, сквозисто,
И будто бы издалека,
Звенит прерывисто и чисто
Еще не слышная строка.

Я помню бдения хмельные,
Дыханье воли, тень тюрьмы,
И чаепития ночные.
И лета блеск, и блеск зимы.

Знакомцы, красные с мороза,
Отгаивали впопыхах,
И бились синие стрекозы
В моих полуденных стихах.

И вновь в предчувствии начала
Брала дыхание строка.
Земля торжественно молчала,
Как бы смотря из-под платка.

Ах, сладко кружится, бывало,
От синей глуби голова.
Но проза строгая вступала
В свои бесспорные права.

Стихи светились глуше, глуше
Сквозь лица, поздние уже,
Как зов — спасите наши души,
Как свет на дальнем этаже.

И, словно голос колокольный,
Ко мне доносится с тех пор
Подавленный и своевольный
В нас отозвавшийся простор.

Мы с волей праздновали встречу
В родном углу, в глухом краю.
И споря, и противореча,
И принимая, и переча,
Я память праздную свою.

Все бьется человеческий гений...
В. Ходасевич

И вдовый стон, и горький дух гонений,
И лязг, и скрежет волчьих поселений —
Не зря слезам не верила Москва!

А все же бьется человеческий гений
И остается без поминовений
В сырой земле, не знающей родства.
И та же пляска обогранных душ —
Юродивых, насильников, кликуш,
Святых чертей, пророков бесноватых,
Пустых колоссов, странников горбатых,
Уставивших глазницы в никуда...
Россия, долго ль будешь виновата?
Иль впрямь, многоповинная, права ты
До лучших дней — до Страшного Суда?
Еще не все отстроены остроги,
Еще не все раздроблены пороги,
Не все еще размыты берега.
К ненастью дело. Месяц, вновь пологий,
Глядит на потемневшие дороги,
Уставив вверх зеленые рога.

Моя тарусская Россия,
Моя владимирская ширь,
Моя возлюбленная Лия,
И Руфь, и нежная Эсфирь!

И блещет двуединым светом
Крыло у каждого плеча,
И две судьбы, как два завета,
В меня вошли, кровотока.

Звонит в тоске неутолимой
Церковный хор,
Глядят иконы — мимо, мимо,
Потупив взор.

Их лик хранит неизгладимо
Черты примет.
От царских врат к Ерусалиму
Начертан след.

О, шорох ночи гефсиманской,
Еще продлись!
С тоской безумною, славянской
Переплетись!

И как же ты необычайно,
Двойное «я» —
Два мира у тебя, две тайны,
Два бытия.

И стонет скорбная Дебора,
И Ярославна вторит ей...
Два горьких голоса, два взора
В душе разорванной моей.

Горючий камень жжет ладони,
И свет, и снег, и даль в слезах,
И солнце, грозное в Сионе,
В морозных блещет образах.

Была я здесь когда-то...
Теперь, в исходе дня,
Горчайшая расплата
Прапамять для меня.

И праздностью пьяна я,
И снами наяву..
Зачем живу, не знаю,
А все-таки живу.

И сны земли библейской
Так явственно слышны
С той маленькой, житейской,
С той бедной стороны.

Все небо в звездах, звездах,
И в сомкнутых глазах
Сияют дали, воздух
Светает на глазах.

И чувство расстоянья
Утрачиваю я,
И вижу очертанья
Иного бытия.

ДМИТРИЙ МАЛКИН

ПАСТЕРНАК

Поскольку мир не разделить нам нацело
и нет конца презрению и резне,
чур не меня! Исчезни, моя нация:
ты проиграла в мировой войне.

И примем факт, рожденные евреями,
что Заповеди не были правы.
Кто больше не рифмуется со временем,
тот — растворишься в просторах мировых!

...Глухая ночь — ни звездочки, ни месяца,
и умер сад, лишь в дачных окнах свет.
А ворон: кар!
А богомолец крестится.
Но нация не исчезает. Нет.

Хватит ныть о России,
Волгу хаживать вброд.
Не Россия Мессия —
свой восставший народ!

Хватит жалоб напрасных
в затаенном кругу,
хватит слез распрекрасных
на пустом берегу!

Хватит клянчить законы,
повторять: мы, как вы,
очень любим иконы,
колокольни Москвы...

Хватит ждать: что-то будет?
Хватит лгать: повезет...
Ни дурак не рассудит,
и ни трус не спасет!

Как это странно: вспомнить снег России,
песок синайский мучая рукой...

от Якова: любить одну в другой,
спать с Лиею и думать о Рахили.
От Якова: работать семь по семь,
чужих скотов откармливать и множить,
уподобляться каждому и всем,
но знать:
настанет миг, и Бог поможет.

Благословляю Белое Крыло —
из моря в Город.
...Заблудшее колышется весло,
песчаный шорох.
В прозрачности мосты разведены,
а видны, близки
в ячейках Петропавловской стены
кусты-записки.

Исакий дремлет, у лиц водоем
блестит подснежно.
Смятение наступит только днем
и неизбежно,
а счас — покой.
Да Город не таков,
не спит под кровом,
стоит и смотрит с белых берегов —
сам очарован.
На Стрелке львята с сосками в зубах
сопят, согреты.
Дыхание небес на куполах
и минаретах...

Великая Земля! Как ты мала,
как неделима!

В Ночь Белую плывут колокола
Иерусалима.

ДАВИД МАРКИШ

...Я говорю о нас — сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть русский дух ведет тропа иная —
До их славянских дел нам дела нет.

Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим — цветами в изголовье
Их северной страны.

Когда сотрется лыковая проба,
Когда затихнет пресных криков гул —
Мы станем у березового гроба
В почетный караул.

Щербат и сер луны ущербный серп.
Еще что? Скажем, мреть и мор на море.
Мы дали вам Христа — себе в ущерб.
Мы дали Маркса вам — себе на горе.

МИХАИЛ ГРОБМАН

Противны горы Самарии
И неприятны облака
А мне в ОВИРе говорили
И не пускали дурака

Зачем ломаешь ты карьеру
Мне говорил майор Петрюк
Он сионистскую холеру
Уже тогда поддел на крюк

Ах Боже мой как прав был также
Полковник Борщ из КГБ
Поступок мой назвал продажей
Моей сочувствовал судьбе

А я не верил опьяненный
Меня опутал капитал
Своею щупальцей зловонной
Он сионистов восхвалял

И вот теперь лишенный блага
Стою с ружьем я у ворот
Из облаков стекает влага
Я полон мыслей и забот

Я не желал армейской жизни
Я не желаю воевать
Хочу я жить при коммунизме
И мирно с Колей выпивать

Но все пропало все исчезло
Сломалось счастья колесо
И то что было мне полезно
Как дым исчезло и прошло

Но залечу свои я раны
И не поддамся я врагу
Возьму семью и чемоданы
И жить в Америку сбегу.

Мы в ливанском походе в холодных снегах
Воевали с арабскою силой
И на самых смертельно опасных местах
Появлялся Чапаев красиво

Он стремился вперед на своем скакуне
Вдохновляя отвагой своею
Уподобился он на Ливанской войне
Человеку герою еврею

И когда проходили мы речку Литань
Когда мы ее переплывали
Убегала от нас мусульманская срань
А мы их пополам разрубали

И Василий Иваныч одною рукой
Призывая на брань и невзгоды
На весу и скаку он рукою другой
Полковые держал две колоды

Мы бы взяли заебанный Богом Бейрут
Где в мечетях муллы завывают
Но мы знали — в Америке нас обосрут
И в Европе говном закидают

И тогда повернули мы наших коней
Злые слезы в глазах закипали
И товарищ Чапаев герой и еврей
Нас просил чтоб мы не горевали

Только сам наш товарищ Чапаев не мог
Пережить что случилась осечка
И когда мы пришли на родимый порог
Он сгорел и растаял как свечка

Посреди Тель-Авива есть старый погост
Где лежат все отцы сионизма
Там схоронен Чапаев спокоен и прост
Жертва мнения капитализма

Но гремит ежегодно почетный салют
Из почетных и толстых орудий
Про Василий Иваныча песни поют
На еврейском наречии люди

И пока проживает еврейский народ
Свою древнюю родину строя
Не забудет Чапаева славный поход
И геройскую гибель героя.

В тот год советские дивизии
Войти хотели в Тель-Авив
Но не хватило им провизии
И провалился их прорыв

Бегли солдаты их голодные
Бросая пушки на бегу
А вслед евреи благородные
Им предлагали творогу

Но офицеры неподкупные
Блюдя мундиров русских честь
В песках солдат теряя трупам
Не разрешали творог есть

В тех творогах зерно заложено
Всех сионистских зол и бед —
Так говорил парторг встревоженно
Печально глядя на обед

И растеряв в пустыне воинство
Пришли начальники в Москву
Их там приняли по достоинству
По чашке дали творогу

И с той поры в часы урочные
Тому кто носит партбилет
Дают еду кисломолочную
Для остальных ее уж нет

Зато доносит телевизия
Шум перестройки и призыв
И больше русские дивизии
Уже не ходят в Тель-Авив.

ИЛЬЯ РУБИН

Приснилось мне, что я – обманут,
Обманут другом и женой.
Я слепо шарю по карманам,
Ища последний четвертной.

И вот сижу с какой-то бабой
Среди потухших, пьяных рыл.
И весь я сам – какой-то слабый,
Ну, вроде ангела без крыл.

И я кричу всему шалману,
Нелепый, жалкий и хмельной:
«Приснилось мне, что я обманут
Эпохой, Богом и страной!»

Но все молчат, и только баба
Бормочет что-то без конца.
И я бреду через ухабы
Ее безглазого лица.

Я отдыхаю, рот освоив,
Преодолев вершину лба.
Нас остается двое, двое –
Уже не пьянка, но судьба.

Мы обнажаем только тело,
А души плачут в уголке,
Как школьницы, кусочек мела
Запрятав в маленькой руке.

И грянет радость! Рожь приснится
И солнце круглое над ней.
Лежишь в сияющей деснице
Тобою смятых простыней.

И только тень твоя в шалмане
Еще тревожит мрак пивной:
«Приснилось мне, что я обманут
Эпохой, Богом и страной...»

Я умирал у Сретенских Ворот.
Ко мне пришел Последний переулок,
Как Веневитинов — кусая нежный рот,
Как Мусоргский — велеречив и гулок.

И слов его я не успел понять,
Расшифровать последнее объятие...
Привычка жить — последнее занятие,
Которым боги тешили меня.

ОТЪЕЗД

Из угрюмого здания цирка,
Что стоит у Центрального рынка,
Убегают, все пути распутав,
Двое маленьких лилипутов.

И бежит эта странная пара
Вдоль гигантских скамеек бульвара.

Не забыли они, не забыли,
Как их пьяные клоуны били,
Как стояли они на помосте,
Где ломали им души и кости.

Убежали из этого ада,
Так не надо же плакать, не надо!

За Орфеем в костюмчике строгом
Поспешает она, как за Богом
Торопилась вослед Магдалина —
Мимо Праги, Москвы и Берлина,
Мимо воинов, шлюх, музыкантов —
Из жестокого мира гигантов.

Скоро смогут они по размеру
Выбирать себе горе и веру,
И шутить, эскимо покупая
И губами к нему прилипая.

Только ночью сквозь них сновиденья
Прорастут, как большие растенья.
И не будет в них бегства из плена —
Лишь арена, арена, арена...

Так странно молвится — мы живы до сих пор.
День, отшумев, становится багряным.
Еще дымится на ветру топор,
Рубивший головы евреям и дворянам.

Подумать только — я еще живу.
Сквозная тень кропоткинской баллады.
Как тень сквозной кладбищенской ограды,
Брюссельским кружевом ложится на траву.

И в этот мир, где странно быть не пьяным.
Где позабыли колокольный звон.
Где так давно разрушен Илион.
Что и гекзаметру нельзя не быть багряным.

Кропоткинское ветхое добро
Бросаешь ты со дна своей поэмы.
Так продают последнее ребро,
Наскучив одиночеством Эдема.

И я, как прежде, пьян тобой и болен.
Я снова мальчиком гляжу в твоё окно.
Две пятерни московских колоколен
Мне целовать до смерти суждено.

Сквозь дребедень Испаний и Японий
На самом дне оплаченных небес
Я помнить буду вкус твоих ладоней,
Твоих ладоней непосильный вес.

Блаженство телефонной полуречи.
Мученье губ, походки и волос.
И обморок последней полувстречи —
Полуобъятье, мокрое от слез...

Россия... Средняя Россия,
Глухая смутная пора.
Гуляют боги отставные,
Как отставные унтера.

Неразрешимые вопросы
Уходят дымом в небеса.
Русалки там простоволосы
Сидят и чешут волоса.

Здесь обнаруживает глобус
Свою реликтовую суть,
Когда, покорствуя и горбясь,
Пересекаем этот путь.

Летят дождей струи косые,
И сумрак просится в зятя,
Россия, средняя Россия
Засела в сердце бытия.

И в четырех шагах от пола
Запела пыльная труба.
Любовь, как рвота, душит горло
И подбирается к губам.

Рыдали, верили, просили
И проклинали сгоряча.
Россия... Нищяя Россия...
Свеча... Потухшая свеча...

Н. Рубинштейн

Блажен, кто отыскал разрыв-траву,
Кто позабыл сожженную Москву,
Когда вослед листкам Растопчина
Взметнулась желтым пламенем она...

А нам с тобой не забывать вовек
Сестер изгнания — вавилонских рек.
Для нас с тобою поберег Господь
Чужого пепла теплую щепоть.

Над нами небо — голубым горбом.
За нами память — соляным столбом.
Объят предсмертным пламенем Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом...

ГРИГОРИЙ ВАРШАВСКИЙ

Усталость недугами
с хрустом ломает суставы,
под сладкой облаткой
все явственной горечь драже,
а годы уходят,
как в ночь фронтовые составы,
везущие тех,
кто вернуться не сможет уже.
Ползу к большинству,
меньшинство на планете бросая,
бесплотное былое,
истлевшее в серой дали.
Ты слышишь меня,
ненасытная,
злая,
косяя?
Прими возвращенца
в холодное лоно земли.

В МАСТЕРСКОЙ КОЗЛОВА

Смятенье красок. Блики. Лики.
Церквей безмолвных купола.
Апостол в образе калики.
Братина среди стола.
Звучат холсты, кричат полотна,
На ветлах мертвые скворцы,
Железом скованы добротны,
Звенят запорами ларцы.

Колокола набатят в Кромах,
В дыму едучем тлеет Псков,
И князь бояр-бунтовщиков
Ждет в потайных своих хоромах.
Что утром князя ожидает?
Венец иль плаха — все одно,
Никто судьбы не угадает,
А за окошками темно.
Глядит с полотен Русь глухая,
Темны холопские дворы,
И торжествует, отдыхая,
Топор, отмытый до поры.
Здесь образ родины не тронут,
Не обновлен, и лишь в ночи
Кричат голодные грачи,
И где-то в зыбких топях тонут
Надежд неяркие лучи.
Мне этот мир знакомый страшен,
Оживший вновь в холстах творца,
Как суть, ничуть не приукрашен,
А символичен до конца.
И в благовестном медном гуде
Я вижу скорбь, я вижу грусть...
На том стояла и пребудет
Во все века святая Русь.

ЗАКОУЛКИ ИЕРУСАЛИМА

Закоулки Иерусалима,
Ветхий камень библейских руин
И сдувающий веру с олима
Суховой галилейских долин,
Окаанный,
загадочный город,

А потом он упал, обессилов,
И сквозь дрему кого-то бранил,
Тот безумный старик из России,
Что сквозь годы пронес, сохранил
В нерасстрелянной памяти сердца,
В бесконечном, как горе, бреду
Тяжкий путь из Полтавы в Освенцим
В сорок третьем проклятом году.

ЛЕОНИД ИОФФЕ

Все вышло правильно
любujemy холмами
вживаемся в отвагу муравьев
мы сами выбрали
мы выбрали не сами
наш самый свой из не своих домов.

Все вышло правильно
единственно — будь горд
будь горд служением
не ради, а во имя
чтоб неминуемо
и чтоб непоправимо
все вышло правильно
разбег и перелет.

Все вышло правильно
я знаю тот рассказ
когда единственное благо правит в стане
мы сами выбрали
мы выбрали не сами
единственное благо без прикрас.

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

КОРНИ

Я очень мало знаю об отце.
Да и о матери я знаю мало.
Все дедушки и бабушки мои —
В такой тени, что их совсем не видно.

Каракалпакского не знает языка
Язык мой. И еврейским не владеет.
Я родилась в такой большой стране!
Такая шла война на белом свете!..

И мне ли нынче сетовать на то,
Что мне корней родители не дали?
Деревьев не бывает без корней.
Я родилась! Мне удалось родиться!..

Я — это жизнь. И собственным корням
Незримым — бесконечно доверяю.
Каракалпак, еврейка — имена
Одной и той же тайны бессловесной.

Здесьние рассветные птицы
Будят меня нежнее и резче.
Прямо к душе норовят обратиться,
Минуя пустые неважные вещи.

Каждое божье утро незримые птицы эти —
Из вечнозеленых кустов, из немыслимой рани.
И душа моя вздрагивает на рассвете,
И определяется: жизнь, Израиль.

Господи, если б такая погода —
да в Москве!

Я была бы уверена,
что сейчас зазвонит телефон,
и кто-то из милых сердцу людей
скажет мне, что соскучился,
и что надо бы повидаться.

А здесь, в Израиле,
такой избыток хорошей погоды,
что никто по мне не скучает.
Остается слушать бесчувственно,
как в соседнем доме
разрывается телефон...

Вот она я. Вот моя плоть.
Воздухом потным усердно дышу.
«Где ты?» — спросил у Адама Господь.
«Где ты?» — сама у себя спрошу.

Голову приподниму на миг.
Молча услышу собственный крик...

У ДРУЗЕЙ В РАМОТЕ

Как сердце занесло на повороте,
Когда открылся город на горах!
Впервые Иерусалим в моих стихах,
А я впервые у друзей в Рамоте.

То кремовый, то розовый, то синий —
Находка для художника Рамот.
И он здесь поселился и живет —
Оле хадаш, художник из России.

Он молча водит ежедневно кистью,
Но не Рамот и не Израиль тут.
Холсты его заполонил галут.
Чем смысл грустней, тем краски золотистой.

Незримая подсвечивает свечка,
Внезапные проемы бытия.
Еврейское местечко. Мать моя —
Из этих мест, из этого местечка.

Ушла судьбе и дочери навстречу
И не вернулась больше в зыбкий дом.
Как веет от холстов забытым сном,
Забытой верой и забытой речью!

Пути Господни неисповедимы.
В какие, мама, ты ушла места?
А дочь твоя — в крутой обрыв холста
Глядит она из Иерусалима...

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ

Видите, какому бездомовью
Отдаем и жизни, и сердца!
Ничего не выстрадать любовью,
Ничему не верить до конца.

Господи, от края и до края
Над страну нашей власть Твоя,
Милуя, без гнева, не карая,
Правишь Ты пределом бытия.

Год за годом, пламенем палимы,
Пламенем гордыни и тщеты,
Ничего Тебе не принесли мы,
Кроме беспредельной нищеты.

Меня застрелят на границе,
Границе неба и земли,
Душа всполохнутою птицей
Растает в северной дали.

И тело в смертное оденут,
И в землю колышек вобьют,
Но не пойму, куда же денут
Последних несколько минут,

Когда, друг друга узнавая,
Соединятся на крови
Земля горячая, живая
И дар божественной любви.

То будет час перед рассветом.
Погаснет на небе звезда,
Путеводящая на этом
На белом свете, и тогда —

Тогда в какое-то мгновенье
Меня коснется благодать,
И тайной горечи движенье,
Что ничего не досказать.

БОРИС КАМЯНОВ

Изнутри большая муха
Бьется о стекло.
В комнате тепло и сухо,
Чисто и светло.

Лес у самого крылечка,
Дятлов перестук.
Рядышком гуляет речка
С севера на юг.

Я уехал в одночасье
От страстей и бед..
Все тут, вроде, есть для счастья,
Только — счастья нет.

Какая это сладкая тоска:
Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка,
Потрескивать глаголами сухими!

Оставив там, за тридевять земель,
Полжизни и разбитое корыто, —
Какое счастье слово «Израэль»
Произносить свободно и открыто!

Я выучу иврит как «дважды два».
Но никогда мне не забыть такие
Совсем простые русские слова:
– Дочурка.
– Мама.
– Бедная Россия.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

Провинциальный городок,
Где люди нечестолюбивы,
Гостеприимны и просты,
И мировых скорбей чужды.
Где нет больших очередей,
И, как ни странно, – вдоволь пива;
Где в жизни озаренья нет,
Но нету и большой беды.

Провинциальный городок,
Мирок, живущий вполнакала!
Ты сам не знаешь, как ты прав,
Что не копируешь столиц,
Где каждый одинок в толпе,
Где счастья и свободы мало,
Где можно отдохнуть душой
Лишь в белой тишине больниц.

Провинциальный городок!
Я – блудный сын твой в этом мире.
Я – полномочный твой посол,
Твой благодарный иудей.
Как славно приезжать к тебе,
Бренчать на подобрешей лире
И пить прохладное вино
Среди застенчивых людей!

КАЧЕЛИ

И. Городецкому

Жизнь — что качели.
В каких я провалах бывал!
Ползал по дну я
хмельного московского скотства.
Плакал с ворами
и руки блядам целовал.
Душу сгибало
жидовское бремя сиротства.

Миг — и взлетел я
к святым иудейским горам.
Что за высоты
открылись с Сиона еврею!
Вычистил душу,
как будто загаженный Храм.
Но о былом
все равно, все равно не жалею.

Там — моя молодость.
Там — моя краткая жизнь.
Тут — моя зрелость.
Моя обретенная Вечность.
...Свищут качели.
Но, как изнутри ни держись, —
Позади — безначальность,
а впереди — бесконечность.

РОДИНА

Я шел по российской деревне,
Желая спасенья от зла.
И в образе бабушки древней
Навстречу мне Родина шла.

Сейчас она взглянет нестрога,
Укажет дорогу в миру,
Промолвит единое слово
И душу научит добру...

Иду я навстречу, усталый,
Готов на колени пред ней...
Но с ужасом вижу: у старой —
Провалы на месте ноздрей,

Озлобленно бегают глазки,
Два пальца скрестила рука...
Ну словно из давешней сказки
Внезапно явилась Яга!

— Ах, мама, родимая мама!
Я — сын твой, российский еврей.
Я, может, любимая, самый
Несчастный из всех сыновей.

Родная! В смятении духа
Тебе посылаю привет! —
Клюкой погрозила старуха
И плюнула злобно вослед.

Демократичны русские пивные.
Бухие старикашки-домовые
Соседствуют с майором КГБ.

Художник, заскочивший на минутку,
Квартальную притиснул проститутку
С креветочным ошметком на губе.

У каждого есть склонность к разговору:
Поэт читает эпиграммы вору,
А участковый с диссидентом пьет.
Свершается загадочное действо:
Интеллигент нисходит до плебейства,
И мысли изрекает идиот.

Пронизанный миазмами маразма,
Табачный дым живет, как протоплазма,
И нас почти не видно в том дыму.
Лишь зябко пляшут профили косые...
Иного нет пути понять Россию,
Как только с нею спиться самому.

ЯША КОГАН

Российским кулаком частенько троган,
Под жесткою опекою властей,
Живет у синагоги Яша Коган –
Мой друг старинный, тихий иудей.

В любой пивной ему найдется столик
И в каждом вытрезвителе – ночлег.
Он – самый беспробудный алкоголик
И самый превосходный человек.

В шестидесятых изгнанный с истфака,
Прошедший не один уже дурдом,
Живет он, как бродячая собака,
Своей хмельной судьбиною влеком.

Он грузчиком работает на складе.
Там мало получают — много пьют.
И работяги — ласковые дяди —
Его по дружбе Васьюкою зовут.

Июньским полднем в телогрейке преля,
Нетвердою походкою бредет.
Не принимает Яшу за еврея
Прохожий невнимательный народ.

В субботу мы стоим у синагоги.
Потом отходим выпить на часок,
И он уходит, добрый и убогий,
Коллеблющийся, словно волосок.

По улице Архипова, к Солянке,
Бредет по самой кромке бытия
К своей последней неизбежной пьянке.
А к новой жизни улетаю я.

И все же нам дано одно наследство.
У трезвых сионистов на виду
Я выхожу из собственного сердца
И пьяным шагом от себя бреду.

Я сам себя навеки провожаю.
Прощай, Россия, — горькая любовь!
Я остаюсь — и я же уезжаю.
Я погибаю — и рождаюсь вновь...

Симпозиум московский по культуре,
Наверно, увеличит алию.
А Яша приложился к политуре
И пьет ее, как я уже не пью...

Колотун по утрам, да такой,
что недолго свихнуться.
Нет контроля над телом —
вчера был до одури пьян.
Вот креветки беру — пляшет в пальцах
проклятое блюдо.
Поднимаю стакан — норовит покалечить стакан.

Пью я залпом его: отвращение к утренней хани.
Запиваю пивком и скорее креветку жую.
Отставляю стакан, остается грамм двадцать
в стакане:
Не хватило дышалки — угробил дышалку свою.

Вот уже изо рта эскадрон на рысях выезжает.
Озираюсь вокруг и смотрю на дымящийся зал:
Вот знакомый алкаш. Водку пьет он,
как будто рождает.
Очевидно, и я, похмеляясь, не меньше страдал.

Что ж, теперь мы прикинем:
осталась в кармане пятерка.
Три рубля — два стакана
и самый простой закусон.
Надо звякнуть в журнал:
не пошла ли в журнале подборка.
После — вновь на троих. Снова стану, как пух,
невесом.

К ночи вновь я напьюсь. Дома снова
бессмысленным взглядом
Посмотрю я на дочь и скорей завалюсь
на постель.

ПИВНОЙ БАР

Публика в баре самая разная.
Реже – спешащая,
Чаще – праздная.
Реже – тверезая,
Чаще – похмельная.
Если уж баба,
То чаще – панельная.

Публика в баре самая разная.
Реже – счастливая,
Чаще – несчастная.
Реже – богатая,
Чаще – безгрошная.
Реже – хреновая,
Чаще – хорошая.

Эта пивная – модель мироздания:
Непонимание –
И лобызания.
Пьяные драки –
И проблески разума,

Призрак Толстого –
И тень Стеньки Разина...
Рядом – бессмысленное и великое.
Пьянство российское – многоликое.

Здесь, на границе греха и безгрешности,
Я и живу, полный горя и нежности.

ПЕРВОЕ МАЯ

Тихие пьяницы и драчуны,
В сквер выползающие на рассвете, —
Дети великой Советской страны,
И, несомненно, — счастливые дети.

Да хоть возьмите, к примеру, меня:
Стоит лишь утречком опохмелиться —
Рвется душа в поднебесье, звеня,
Словно из пепла восставшая птица.

А на планете царит Первомай,
Мирные выстрелы почек зеленых...
Выше, товарищ, стакан поднимай
В наших веселых рабочих колоннах!

Праздничный вечер. Роскошный салют,
Словно корабль, выплывает из мрака.
Слышу: кого-то поблизости бьют.
Вижу: и вправду — отличная драка!

Славно с разбегу врезаться в толпу,
Славно быть толстым и густобородым
Сильным евреем, связавшим судьбу
С братским великим российским народом!..

Утром, опухший, очухаюсь я.
Долго ли мне колобродить на свете...
Господи, бедная дочка моя!
Господи, Господи, бедные дети!

Ночью пили-выпивали,
Поддавали, клюкали.
Похмелялись на вокзале,
Пели, улюлюкали.

Пили пиво в электричке,
Водку – перед сменой.
Матерились по привычке –
Молодые, смелые.

На губах окурки тают,
Бешенство в зрачках дрожит.
Обо мне они считают:
– Не хуевый, хоть и жид.

Я живу в веселом мире,
С ними пью я день-деньской
И в общественном сортире,
И в столовой, и в пивной.

Всю-то жизнь я с ними вместе –
В тьме, в блевотине, в говне,
В радости, в гостях у тестя,
В доме,
В городе,
В стране!

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ

Империя по-русски говорит,
Не чувствуя растущего акцента,
И нежная славянская плацента
Многоязыким пламенем горит —
Империя по-русски говорит.

Империя не слышит никого —
Ни разума, ни собственной природы.
Как быстро размывает естество
Могучие подпочвенные воды!
Империя не слышит никого.

Уже у горла подступивший страх,
Уже томит предчувствие угрозы,
Которая клоочет в берегах
Неумолимой деревенской прозы,

Которая усобицы сулит,
Кровавые, глухие перегрузки...
Империя по-русски говорит?
Империя не говорит по-русски.

Нет кладбища, где погребен мой дед.
А если бы и было — нет могилы.
Кто помнил место, все убиты вслед.
Из яра указать не хватит силы.
Кладбищенских архивов тоже нет.

Меня назвали в честь него. Потом.
На лад, конечно, греческий и русский.
Отец вернулся — этот жуткий слом —
Срывался, не выдерживал нагрузки,
Хотя жена была и новый дом.

Но не было могилы. Только в яр
Он мог пойти, и там спросить у глины.
И возвращался по ночам кошмар,
Где следствия смешались и причины,
И дым к утру виденья застигал.

Но где они? Где все погребены,
Весь этот хворост, напитавший печи,
Насытивший жерло большой войны?
(Мы, стало быть, в долгу у русской речи,
Другую, правда, и не снабжены...)

А кладбище еврейское снесли.
На этом месте что-то возводили
И возвели. Теперь уж возвели.
А праха не осталось. Даже пыли.
Другая почва. Нету той земли.

Что до надгробья, то стоит оно
Над матерью. На камне эти лица —
Эмалевое странное окно.
Не стоит беспокоиться и злиться.
Как в небе ясно.
Как в земле темно.

В сущности, мог бы выпасть другой язык —
Польский, испанский, немецкий, даже фарси,
Вовсе не русский, к которому так привык,
Что впору и затеряться где-нибудь на Руси.

Пробуя на разрыв узы мрачного прошлого, я бы не
Настаивал на культуре — уж какая была:
Бесконечный подъем по вертикальной стене,
Где пятнает ботинки приличная смола.

Но теперь, оторвавшись и выпав в осадок здесь,
В этом месте конечном, где подлинной речи звук
Заглушает и ветер, и дождь, и на крыше жечь,
Но теперь, окончательно отбившись от рук,

Пробуешь разобраться, слух натрудив и взгляд:
В чем же причастность наша? Душа ее не вместит,
Даже если и вправду никто не придет назад,
Даже если и вправду язык за то не простит.

«Нет, мы не лезли на скрижали,
Мы языка не выбирали,
И потому остались здесь,
Пробились по щекам, как шерсть
Для ежедневной гильотины,
Для надоевшего бритья,
В котором русские мужчины
Упорствуют, совсем, как я».

Но кто кого возьмется брить —
Русак? Еврейский парикмахер?
Все шито на живую нить,
Нелепо и не нужно на хер
В пространстве брошенной вдали
Тоскливой, бесконечной прозы,
Где по лицу чужой земли
Размазаны чужие слезы.

Человек вспоминает забытый язык исхода,
Возвращается к дому, оттуда руками машет.
Человек не бывает хитрей, чем сама природа,
Даже на стремительном марше.

Потому, забывая детали тех, прежних строек,
Он становится более стоек,
Оптимизм сохраняет и верность флагу,
Жизнь становится краше и просится на бумагу.

Жизнь меняет окраску. В какой-нибудь ясный вечер,
Оглянувшись вокруг, изумляешься не без лести.
А допрашивать станут, я вряд ли теперь отвечу —
Как там, на прежнем месте.

ЮРИЙ КОЛКЕР

ПОСЛЕДНЯЯ ЧАЙКА

Осеннее небо лежит
Тяжелой, причудливой лепкой.
Последняя чайка кружит
Над стынувшей Малою Невкой.

Последняя чайка парит,
Висит над ларьком, над трамваем,
Щемящим простором дарит
Нас – прошлое мы забываем...

Послушайся ветра, прощай,
Лети, возвращайся в апреле
За корюшкой, в призрачный край,
На скудные невские мели,

Крылом опиши полукруг,
Кивни мне головкою черной,
Послушайся ветра, мой друг,
Оставь этот берег просторный!

Плачь, мой город, я был тебе сыном.
Да, не лучшим, но все-таки был.
По дворам твоим и магазинам,
Вдоль каналов и речек бродил.

Жил надеждой, просвета не видя,
Ждал успеха, обиды терпя.
Я вживался в тебя, ненавидя,
Проклиная, но втайне — любя.

Ты, неслышанным прошлым украшен,
С бутафорскою честью в уме,
До чего же спесив ты и страшен,
Полупьяный, в словесном дерьме.

Ты, эклектик, культурой ошпарен
И стихом захлебнулся, хрипя.
Да, ты немец, но втайне — татарин.
Отвяжись, ненавижу тебя.

Двести лет надыхаться не можем,
Дышим смрадом болот и тюрьмы.
Над гранитным твердеющим ложем —
Желтый пар петербургской зимы.

Был прав поэт: не взять умом,
Не заглянуть в глаза
Стране, помеченной клеймом,
И знать ее — нельзя.
Оставь надежду, робинзон,
И отложи тетрадь:
Россию, как кошмарный сон,
Нельзя пересказать.

СВЕТЛАНА АКСЕНОВА

... Что тебе рассказать о звериной тоске
ненасытно-огромного края,
о железных дождях и державной руке,
о слезах, остывающих в снежном песке,
что тебе рассказать в онемевшей строке,
если я без него — пропадаю!

Что тебе рассказать, соплеменник чужой, —
о дыханье раскованной речи,
где кровавый рассвет и закат ледяной,
и свирепый простор, и безжалостный вой
безутешной волчицы под желтой луной,
вспоминающей сны человечьи...

Что тебе рассказать, если там родилась,
где меня не признали своею,
но с безумной страной безумная связь —
где бы я ни была и куда б ни рвалась,
хоть язык оторвись, хоть глаза повылазь —
так крепка, как удавка на шее!

ИЕРУСАЛИМ

Ничего себе ветер — стремительней аэроплана,
Ничего себе город — летящий на смуглых холмах!
Может, это входило в Его грандиозные планы,
Может, это сквозило в моих человеческих снах.

В синагогах печальных, где таяли тихие свечки,
Изначальная тайна томилась в звучанье стиха,

И стояли евреи, заблудшие мира овечки,
И ни с кем не хотели делить Своего Пастуха!

Только вечную Книгу с собой уносили в изгнание,
Только щит беззащитный – Давида земную звезду!
И веселую грусть, и тревожный покой Мироздания,
Что разлит над землей, по которой сегодня иду.

Запоздало свиданье, на тысячи лет запоздало!
Застревала невстреча моя в неподвижных веках,
Застывала в чужбинах холодных, в чужих языках,
В ненадежных домах, с бесприютным уютом вокзала...

Я не знаю: зачем и какую стихийною силой
Перепутаны в жизни моей времена и миры.
И внезапный озноб этой лютой восточной жары
Непонятно похож на заснеженный воздух России!

Я праздник Субботы узнала,
Но праздновать всласть – не могу!
Российскую свалку вокзалов,
Российскую злую пургу,

Российские топи и хляби,
Судьбу, по колено в снегу,
С российской щедростью бабьей
В испуганных снах берегу!

И некуда, братцы, деваться –
На Этом и Том берегу
Я буду чужой оставаться
В сиротском кругу, на бегу.

Здесь — кровь мою вычислят люто,
Там — душу мою не поймут:
Смурную российскую смуту
Не втиснуть в уютный приют!

Я маюсь, спекаюсь, я каюсь
За эту беспутную связь,
За то, что не отрекаюсь
От родины, что — отреклась.

И нас отпускает и гонит —
Навзрыд, и взახлеб, и взашей,
Но потная память погони —
Привычное чувство, еврей!

Легко ли — парить над тщетою
Усилий своих, человек!
За новой какую чертою
Оседлой — остынет твой бег?..

ПОМИНАЛЬНАЯ

Тягомотина жизни российской
Чуешь, друже, подходит к концу..
Нас расисты зарею росистой
Поведут к роковому венцу.

Я не знала, что рифмую женской
Сочетаются страшно слова.
На прощанье — ни взгляда, ни жеста:
Я слепа, словно в полдень сова!

Я ослепла от слез ненавистных
По тебе, ненаглядная мать!

Соловьи твои — в сумерках киснут,
А разбойников — не сосчитать!

Поделом мне, собаке безродной,
Прилепившейся жадно во мгле
К этой горестной, глупой, голодной,
Разъединственной этой земле!

...И всю жизнь бесполезной
клянусь — не ведала о том,
что буду я родимой бездной
отторгнутой! Что отчий дом —

отныне — дым воспоминаний,
рассеянный, как млечный дым.
Живую кожу, россияне,
с себя сдираю, словно грим!

Напрасно в свалке рукопашной
так страстно заверяла вас,
что я навеки — ваша, ваша,
душой, и в профиль, и анфас!

Что здесь корнями прорастала,
тоской заброшенных могил!
Уже звездой шестипалой
все шестикрылый освятил:

и очередь — за расставаньем,
и скудный скарб, раздор и вздор,
больного времени дыханье,
разбитый вдребезги простор,

отверженной любви уродство,
и рока равенство слепое.
Все притязания сиротства,
и привилегии изгоя!

Мне некогда глядеться в зеркала
и замечать, какие измененья
со мной моя судьба произвела —
в безжалостном и терпеливом рвении.

И — незачем глядеться в зеркала,
когда оглушена внезапным знаньем,
что я, быть может, вовсе не жила,
и лишь томилась жизни ожиданьем!

Нас не учили жить — учили ждать,
все время что-то пре — одо — левая!
Обещанная свыше благодать
терзала нас, никак не наступая!

Не я одна обманута была
родной страной моею и родней.
Не я одна — ждала, ждала, ждала
в глуши своей души глухонемой.

Угодливый оскал кривых зеркал,
в которых правда — обернулась ложью,
возможное — пустым и невозможным,
для каждого таким привычным стал,

что поглядеться в зеркало иное
нам страшно — словно в пропасть заглянуть...
Давно оплачен общею виною
желанный и туманный этот путь.

Теперь бы разгадать сограждан лица,
себя понять! Но прежняя беда —
неверия раскормленная птица —
птенцов надежды гонит из гнезда...

Воспряли лучшие умы,
Как странно, что надежды живы,
Хотя бывало не до жира:
Едва спасались от сумы.

Взахлеб, навзрыд и косяком
Обрушились разоблаченья.
Ужель от накипи и черни
Всерьез очистился мой дом?

Ведь я забыла, кто я есть?
Ужели вспомню в самом деле,
Ужель душа проснется в теле,
А с ней — достоинство и честь?!

А тот тюремщик, что сидит
Во мне, внутри, и тихо душит,
Какой закон его разрушит,
Какая гласность умертвит?

НАУМ ВАЙМАН

ИЗ ОСЕНИ В ОСЕНЬ

Пустая дача. Мокрый снег.
Чужая женщина в постели...
А над излучинами рек
Наверно птицы полетели!

Черны предзимние поля.
Кругом пустынно и жестоко...
А где-то далеко-далеко
Обетованная земля!

А на пороге мокрый снег.
Буханка сохнущего хлеба.
И взгляд из-под тяжелых век
На проплывающее небо.

Листва на тающем снегу.
То ль сплю я, то ли вспоминаю?
Я жить так больше не могу!
Но, как иначе жить — не знаю.

Град привычной несвободы,
Полу-снов, полу-любви.
Эти люди, эти воды,
Эти храмы-на-крови...

Город странный, ненавистный,
И привязчивый, как бред.

Город чужестранных мыслей
И кондовых русских бед.

Кто-то в девичьей истоме
Нас целует в первый раз,
Кто-то в низенькой хороме
Нам уже кует указ...

Прощевай. Свою тревогу
Я с тоской не рассужу.
Сердце выбрало дорогу,
А не вечную вражду.

Ужель другого нам не надо?
И, ненавидя, раб я твой?
Какая странная награда
Любить тебя с такой тоской...

Роса. Туман. Конец дороги.
Овраг засыпанный листвою.
Кругом покой. Такой покой!
Предтеча смуты и тревоги...

Пустынность неба надо мною.
И переключка журавлей.
И веет новою зимою
От костенеющих полей.

И все тоскливей взгляд девичий,
Объятье судорожной, злей...
Все дальше, дальше угол птичий
Над караулом тополей...

АЛЕКСАНДР ВЕРНИК

Ю. Милославскому

По гололеду, вдаль по льду
пойду искать свою удачу.
Коль оскользнусь, я не заплачу,
дорогу уступая зрячим,
я встану и опять пойду.

Вот так три месяца в году,
стирая морду о беду,
всю зиму, весь январский холод
ищу удачу я. Но ходит
за мной какой-то без лица —
он злые завтра мне пророчит,
он всех друзей моих порочит,
он мне толкует без конца
о том, что чьей-то смерти хочет.

Вот и вчера принес он вести
о страшных пытках. Об аресте
людей каких-то. И опять
не мог я спать. Не мог я спать.

Со мною он ведет себя,
как будто я виновен в чем-то,
он, видимо, приятель черта,
он мой палач, он мне судья.
Но я люблю его. Во мне
его душа нашла удачу.
Мы только вместе что-то значим.
Я с ним бытую наравне
и не могу уже иначе.

М. Печерскому

Теперь не память, а забвенье
осипло голосит листва.
Как страшно наше поколение —
Иван, не помнящий родства.

Так холодно в моей квартире
и лица все нехороши,
как будто умер Бог, и в мире
нет ни одной живой души.

ПАМЯТИ ЕФИМА ЛАДЫЖЕНСКОГО

1. На даче

На даче в маленьком саду
под Харьковом давно
в легчайшем солнечном бреду
с друзьями пил вино.

Слетала облаком пыльца
и таяла в вине —
когда провалом в пол-лица
судьба явилась мне.

И так была она грустна,
что день в саду погас.
И обернулась сном весна,
и нас Господь не спас.

И никого из бывших нас
не сберегла звезда...
И нынешний недобрый час
открылся мне тогда.

2. Иерусалимская осень

Вечернего пустого мрака
колючий дождик моросит.
Скулит бездомная собака,
дитя в коляске голосит.

Открытого пространства мало —
обложкой старого журнала
на непонятном языке
оно заклеено, как рама
в преддверье морока зимы.
И прошлогодняя реклама
сулит несбыточные сны
о том, о сем...

А все же осень —
по памяти — берет в тиски.
Собака лает. Ветер носит.
И рвется сердце на куски.

О. К.

Отечество в дыму,
так сладок этот дым.

Но у речной звезды
рождественского торта,
что горьким миндалем
и редькою разит,
(я руки подыму)
печален реквизит
любви второго сорта.

Под вечер моросит,
и близко до беды.

Я руки подыму —
и дым над головой.
Не отвести беды,
что поднялась над садом.
Да только что мне дым —
я сам пять лет в дыму,
пять лет как не живой,
пять лет уже не рядом.

ГРИГОРИЙ ЛАЗАРИС

Должникам своим мы все простили,
Оставляя мутное жилье,
Эта ночь — последняя в России,
Завтра мы уедем из нее.

В тишине, от курева опухнув
И устав ворочать языком,
По привычке сядем мы на кухне,
Чтоб себя побаловать чайком.

Будут наши жесты символичны:
Все теперь уже в последний раз,
Даже чайник, грязный неприлично,
Как чужой, опустится на газ.

Затолпятся собранные вещи,
И тоска покатится в зенит,
А в душе — отчаянный и вещей —
Будущего голос зазвенит.

ПОПЫТКА РОМАНСА

Юрке

Друг мой, друг мой дорогой,
Как тебе живется
Там за морем, за горой,
Что тоской зовется?

Ах, высокая гора
И не перебраться,
Нам увидеться пора
И пора обняться.

Стол накрыт в твоём доме,
Водка запотела,
Но напиться одному –
Небольшое дело.

Нам бы сесть за этот стол
И начать беседу..
Сколько лет (наверно, сто)
Не был я к обеду?

Табачок свой закури –
Пищу человечью,
Погулять бы до зари
По Замоскворечью.

Побродить опять с тобой
Скоро ль доведется?
Как тебе, товарищ мой,
Без меня живётся?

Слезы жгут мои глаза,
Разве не потеха?
А всего-то год назад
Я от вас уехал.

МНЕ СНИТСЯ ДОМ...

Мне снится дом, где я когда-то жил,
Его дверей причудливые скрипы.
Ночных сверчков игрушечные скрипки
И книг моих любимых этажи.

В прихожей тесной тихий полусвет,
Долой пальто и шапку, и ботинки!
Глаза мои – растаявшие льдинки –
Ложатся на исчерканный паркет.

И в переключке узких половиц,
Под шорохи и шепоты видений,
Из темных закоулков сновидений
Рванется память стай диких птиц.

Я слышу звуки собственных шагов,
Стихов давнишних первое зачатъе,
И пыль в углу, как сброшенное платье,
Как путаница призрачных шаров.

Кухонный стол... конечно, это – он.
Старинный друг, повитертый локтями.
Он ел и пил со столькими гостями,
Что чуть осел с течением времен.

О, сколько тут знакомых мне примет:
У вешалки – застывшая замазка,
На стенке – облупившаяся краска,
На плитнуге – косою чернильный след.

ИЗ РОССИИ

На всех перекрестках Европы,
Одетые светом зарниц,
Империи бывшей холопы
Бегут через сотни границ.

В надежде на дикое чудо
Меняют они города,
Порою их спросят: «Откуда?»,
Никто их не спросит: «Куда?».

И, плавая в духе питейном,
Как будто в далеких мирах,
Тоску заливают портвейном
В дешевых своих «номерах».

И рвотною, смертною болью
Исходят до самых кровей,
Чужую и душную волю
Затискав у первых дверей.

К тяжелым церковным порталам
И пыльной музейной тиши
Они забредают устало,
От собственной прятась души.

Заплачет по ним трясогузка,
Осенние ливни придут
И, может, на кладбище русском
Россию они обретут.

ОДИНОЧЕСТВО

Ночью мир сочтется из приемника
Ненавистью, болью и тоской,
Дервянной поступью паломника
И унылой похотью мирской.

И среди ненастья атмосферного,
Речи непонятной и чужой
Проклятое семя Агасферово —
Память возвращается за мной.

И под звуки хрипа саксофонного
Псы вокруг завоют на луну,
Я из мира смрадного и сонного
В собственную душу загляну.

И опять — безлюдна эта улица! —
Я пройду по жалобной по ней,
И она забьется и заблудится
Между роц, и речек, и полей.

Не был, не был, не был стражем брата я
И не видел крови возле рта,
И шкала, светящаяся матово —
Вот моя последняя черта.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Я скоро уйду. Я уже ухожу. Я ушел.
Грамматика эта, как гвозди в распятое тело,
Со мною прощаются стены и окна, и пол,
И весь этот дом, где душа моя осиротела.

На улице — грязь и туман прилипает, как клей,
Со мною прощается город мой и отходную
Звонит с колоколен возлюбленных мною
церквей

И мне на дорогу читает молитву ночную.

Я в городе этом, как муха в куске янтаря,
Остался навеки и в нем я блуждаю поныне,
Пастух тополей и приемыш того января,
Которого вовсе давно уже нету в помине.

Владенья свои — переулки, дома и дворы,
И улицы все обхожу я последним парадом,
О, детство мое, отзовись из глубокой норы,
О, юность моя, отзовись из заросшего сада.

Последняя ночь по-вороньи раскинет крыла,
И вместе с туманом уйду я в далекие дали,
И до крови в сердце вопьется стальная игла,
Которой название так до сих пор и не дали.

ГРИГОРИЙ ЛЮКСЕМБУРГ

ДОМИК В ТАШКЕНТЕ

Там собака, как встречи залог,
У ворот деревянных томится.
И шумит у окна тополек,
Узнавая родимые лица.

Там чугунный Христос на стене
Смотрит с болью на женское тело...
Чьи-то руки мелькают в окне,
Чьи-то пальцы стучатся несмело.

И, как будто прощаясь навек,
Ставит женщина реквием Баха.
И выходит босая на снег —
Словно саван, ночная рубаха.

ХАМСИН

Мне нужно
Свернуть калачом
Тоску по холодному краю.
Пусть лето с огнем и мечом
Идет по родному Синаю.

Прожить бы какой-то часок!
Сбежать,
Умереть под снегами.
Но солнце стреляет в висок
И топчет лицо каблуками.

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

М. М.

Время чеховской осени, Марк,
для нас — цветов запоздалых,
еще не вошло во мрак.
Вера и твердость, вера и жалость
поддерживают наш шаг.

Я не знаю, как там, а здесь —
пыльные тени солдат Хусейна,
газ отравный, ужас осенний —
но все же ты есть, я есть,
и Иерусалим хрустальный
стекает вниз ручьями огней,
а небо в алмазах отсюда видней,
чем с нашей родины дальней.

Время медленных облаков,
звук струны и луна в ущербе...
Доктор Чехов, не стоило так далеко
заезжать, не стоило знать языков,
чтобы сказать: «Ich sterbe»

А. Сопровскому

Ты прав — расправленный простор,
Трава, присоленная снегом,
И в полночь жизни — смутный вздор,

Что не излечишься побегом.
Судьба больна... а не страна...
Все это было, было, было,
Как бы истертое кино
Перед глазами зарябило.

По мне же — горсточка тепла,
Свободный говор, говор нищий
И страшная, живая мгла,
Что за моей спиной свищет —
Важней. В любой из наших встреч
Сквозь проговорки и усталость —
Земная соль, родная речь
Тесней сбивается в кристаллы.

Ничего не проси у страны — ни любви, ни суда,
первородства души не оценишь ее чечевицей.
Сколько можно несущее непосильное бремя труда
современника, очевидца.

Робкий шепот окраин, столиц заговорщицкий шум
чуть колеблет и дразнит листвы летописного свода,
но, как тайный судья, соучастник судьбы, тугодум,
вывозу на полях неизвестное слово «свобода».

Не возьму ни гроша и ни капли вина не пролью
в причащение судьбы ко стыду нерастраченной силы,
к нерожденной душе, к одиночеству в отчем краю,
к этой грязной бумаге, где жизнь изошла на чернила.

Лето. Солнечные плесы. Ветер на полях,
начинаются покосы, грозы в тополях.
В грязном озере лягушки, косяки мальков,
под кроватью у мальчишки – банка червяков.

Лето. И ослепло сердце – ни судьбы, ни пут.
Кто мы? Брата или деда в рекруты сдают?
И ответят: «Вы в России, а запрошлый год
о войне в Ерусалиме толковал народ».

Все отнимается, все, чем душа жила.
Друзья и города теперь все реже снятся,
и как вернуться мне, и чем мне оправдаться?
Чужую жизнь прожив, перегорев дотла,
несчастною рукой к их стенам прикасаться.

Мы подымались в ночь из глубины.
Тяжелый свет всходил по вертикали
к высотам города, где нас почти не ждали,
и были голоса едва слышны.
О, помнят ли о нас или, как мы, устали?

.....

И я входила в дом, в печальное тепло
и в долгую любовь, где все непоправимо...
Но мой Господь достиг Иерусалима.
Я видела, как горизонтом шло,
гремело облако серебряного дыма.

РИНА ЛЕВИНЗОН

ИМЕНА

Ветры дули, и зимы пугали,
Не сложился разорванный круг.
Люся-Люсенька, Галочка-Галя,
Имена моих русских подруг.

Все там было печальней и глуше,
Но твержу, как молитву, и здесь:
Майя-Майечка, Валя-Валюша,
Отзовитесь, пошлите мне весть.

Лебединые ветры уплыли,
Дружбу вновь заводить недосуг.
Люба-Любушка, Лилечка-Лиля,
Имена моих русских подруг...

Я больше расставаться не хочу
Ни с кем, ни с чем, ни с жизнью, ни с землею.
Пусть все, что есть, останется со мною,
А снова вслед смотреть — не по плечу.
Уже стеклом отделена от мамы,
Уже родители внизу... Темно, туманно...
Я вижу их, но лиц не различу.
Какую-то молитву бормочу,
Ведь не война еще, не катастрофа,
А нам освобожденье — как Голгофа.
Я больше расставаться не хочу.
И непонятно, плачу иль кричу.

Вот так Икар взлетал, летая плохо,
Но мы не упадем — не та эпоха.
Мы долетим и попадем к врачу.
А, собственно, о чем я хлопочу?
Вдруг перемена мест к добру, не к худу..
Но мама в аэропорту... Не буду
Я больше расставаться... Не хочу!

ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ

1

Как все перевернулось круго,
Случайный ветер прах разнес.
Здесь так земля суха, как будто
Ей не хватает наших слез.

2

Я буду жить на этом белом свете,
Как призрак бестелесный, Вечный Жид,
Кочуя из столетия в столетье,
Где Бог мое бессмертье сторожит.

3

Я не спешу с отметкой и с оценкой,
В наш век — что проиграть, что победить.
Какая разница, какой пейзаж за стенкой,
Когда из дома страшно выходить.

Все гибнет. И пыль от разрух.
 Земля стала слабой и тленной.
 И плоть, победившая дух,
 Давно уже правит вселенной.

Портной без ниток – это я,
 Пастух без гор, скрипач без скрипки.
 Из всех секретов бытия
 Я знаю лишь секрет улыбки,
 Которая придет тогда,
 Когда и слезы на исходе.

И я смеюсь, когда беда,
 Как водится у нас в народе.

КОРНИ

Искала корни в дедовской земле,
 Там, где трава звенит легко и вольно.
 Я шла по ней, и было очень больно,
 Как будто я шагала по золе.

Кривые переулочки квартала,
 Где было гетто. И средь бела дня
 Там в яме для расстрела погибала
 Вся мамина и папина родня.

По улочкам, летящим вверх и вниз,
 В том городке как долго я ходила!
 И вот уж звезды первые зажглись...
 Искала корни, а нашла могилы.

НОЧНАЯ НОТА

И. Быховскому

Ночные сугробы,
Снег валом валит.
И все ничего бы,
Да сердце болит.

И повод пустяшный,
И мир еще цел.
И все бы нестрашно,
Да страх одолел.

Над брошенной крышей
Не вьется дымок.
Все вроде бы вышло,
Да в горле комок.

Не сбылось, не сошлось...

Ну и с Богом!

Комом в горле, слезой на щеке,
Непонятым и сбивчивым слогом...
Пусть подышит немного в строке.
Не случилось...

Так, может быть, лучше,

Легче дальняя светит звезда.
Петь да плакать — вот сладкая участь.
А сбылось бы —

что делать тогда?

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Россия, люблю тебя и потому оставляю.
Живи без оглядки на страсти мои роковые.
Спаси тебя Бог. Ну а я — не умею, не знаю.
Прости мне, шалтаю-болтаю, хлеба дармовые.

Уже не впервые рюкзак за мою спину...
И что за резон в нескончаемом сорокоусте?
Прости. А себя не вини безнадежной виною.
Навряд ли я стою какой-то особенной грусти.

Да ну меня к лешему. Или же к лысому черту.
Я пешие кости рысцою гонял и наметом.
И самая вольная воля вонзалась в печенку,
А всякая служба казалась, тем более, медом.

Конечно, отчасти и я отработывал сласти,
Спасал кормовые от этой пропащей погоды.
Но больше засучивал по продовольственной части
Во время напасти на овощи и корнеплоды.

Прости мне свои недороды, убогие виды,
Безумные бреды, со мною прожитые вместе.
За то, что горел, не смущаясь холодной обиды,
И тоже — отчасти. И все порываясь по чести.

А если о счастье — и я разделил ошалело
И помыслы брата о вольной строительной касте,
Заботы, и те же корыта... Но в том-то и дело,
Что даже тогда ты меня отличала по масти.

А я, причастясь безответному Нечерноземью,
Вовсю полыхал... И какие зарюки-обеты...
Россия, прости мне, охальнику и ротозею,
Горючие слезы и самые черные беды.

Когда я приеду оттуда, теперь уже в гости,
Неогнеопасен и сам по-осеннему стоек,
Внимая лазоревой сини и белой бересте,
В малиновом звоне твоих золотых перестроек

Услышу родимой общаги недюжинный рокот,
И шелест рябины, и озера шепот лесного,
И лепет ночного дождя... И уже ненароком
Услышу себя самого, и озвучится снова

Сквозь стук электрички и хрипы гитарной
свободы
И скрежет лопаты, взывающий к ушлой вороне,
Мой памятник, загодя сложенный в те еще годы, —
Дозорнопожарная вышка в Кунгурском районе.

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

М.

Под
черных радуг низкие мосты
и арки
Иерусалима
цепляясь
за нагорные оливы
за минареты и кресты
втекает
флот
галеры и плоты

груз моря мертвого
тяжелая вода
влечет саму себя
и грузные суда
несносный груз фосфоресцирующей соли
и
путеводную
не кажется звезда
ни в Иудее ни в Оголе

кость непослушная!
не шевельнуть веслом
но рта не выпрямивши
о былом
шепчи на камне палубном покоясь
Авессалом!
дурную свою повесть
не выпрямляя рта
Авессалом.

ЭЛЕГИЯ

Я к вам вернусь
еще бы только свет
стоял всю ночь,
и на реке кричала
в одеждах праздничных —
ну а меня все нет —
какая-нибудь память одичало,
и чтоб к водам пустынного причала
сошли друзья моих веселых лет.

Я к вам вернусь.
И он напрасно вертит
нанизанные бусины — все врут —
 предчувствия —
предчувствиям не верьте.
 Серебряный —
Я выскользну из рук,
 и
 обернусь
и грохнет сердца стук
от юности и от бессмертья.

Я к вам вернусь
от тишины оторван
 своей —
от тишины и забытья,
и белой памяти для поцелуя я
 подставлю горло:
 шепчете мне вздор вы!
И лица обратят ко мне друзья —
чудовища из завизжавшей прорвы.

Туман относит ветер от реки.
Не лучше ли: как ветер от тумана
относит реку... — так мы далеки
от берегов своих — и странно
нам возвратиться в прошлое сейчас,
когда мы возвратились — у причала
я перевоплощаюсь в толмача:
свою любовь перевожу сначала —
туда, где только тени тростника
качает вод тяжелое струенье,
где, как слова чужого языка,
разучиваются прикосновенья.
...Тот берег ближе — этот вдалеке,
и лодочкой отпущенной теченью —
рукою — прикасаешься к реке,
даря благословенье и прощенье
за то, что больше не вернуться нам,
и мы — уже из будущего — верим,
что скрежет дна по каменным волнам
нам означает — ближе — этот берег.

ИСААК РОЗОВСКИЙ

ИЗ ЦИКЛА «ПОДРАЖАНИЯ И ПОЛЕМИКИ»

Мне эта пристальность претит,
Что всем поэтам с детства любя.
Долой деталь! Она — петит.
Что проку в ней? Что мне Гекуба?

Да, мир подробен. Но деталь
Чужда гармонии небесной.
И даже с этой жизнью пресной
Соизмеряется едва ль.

Поэт, свой глаз преобразив,
Навел его на мир особый,
Однако вещи высшей пробы
Не попадают в объектив.

На центрифуге ремесла
Не отделить нектар от взвеси.
Зато поэзии масла
Значительно теряют в весе.

Наносится метафор крап
Для шулерской игры на ошупь
На бытие в колоде общей —
Так изменяется масштаб...

Но вдруг из мглы, из ничего —
Потоки ярости и шума.
Опальной жизни вещество
Опять захлестывает трюмы.

В нем ил и мутная вода.
В нем нет надежд, как нет различий
В словах людей, в повадках птичьих,
В деталях рыбьего суда.

И лишь тогда средь черных глыб
Строкой поэзии надзвездной
Вдруг озарится берег грозный —
Все оправдает этот всхлип.

Пусть ночь на холмах Иудеи
Лежит, как Божья благодать,
Но как же сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея...

ИЕРУСАЛИМ

Этот город, построенный из мацы,
легок. Он может взлететь и повиснуть в небе.
Некто свыше прикажет отдать концы.
Что это значит — подскажет вам каждый ребе.

Каждый ребе с рожденья желает знать,
где фазаны живут и во сколько придет Машиах,
и если правда, что солнце взойдет опять —
то с какого бока, дабы избежать ошибок

в будущем, как и в прошлом. Новый Иисус Навин
не отдает светилу команды «Смирно!»
Да и холмы забыли, что Бог един,
ибо за ними он множился, как за ширмой.

В этом городе святость – не Божий дар,
а результат упований, сведенных в точку,
место времени... Даже не календарь
для заключенных в вечность, как в «одиночку».

Здесь не бывает событий, внезапных встреч.
Собственно, это явления иного мира.
Лишь для виду, чтоб плотью себя облечь,
надо ходить на работу, снимать квартиру...

Надо делать сотни привычных дел
для маскарада. Дабы не привлечь вниманья
к способу существованья души вне тел,
кои служат лишь знаками препинанья

для понимания текста, что сам творишь
фактом наличья «в рассаднике трех религий»,
то есть в месте, где даже «Шумел камыш...»
кажется цитатой из вечной Книги.

Глаз устает от чтенья, но если начать с конца –
свет обретает форму холмов и неба.
Тем, кто привык к потребленью земного хлеба,
трудно поверить, что это и есть маца.

АЛЕКСАНДР АЛОН

ПЕСНЯ ИСХОДА

Как тогда говорилось, «навстречу невзгодам!»
Где цикадам до наших запойных трескот!
Мы всерьез это все называли Исходом,
Нам и вправду казалось, что это Исход.

Пусть, наверно, не лучший исход из возможных,
Но и он, безусловно, еще прогремит.
Помним мы, как он начинался в таможах
С пирамид багажа – вроде тех пирамид...

Но такие слова много весят и значат,
И исходом для нас, восемнадцати лет,
Был наш избранный путь, что единожды начат
(Будет длиться всегда, и конца ему нет).

Ибо сколько бы эта дорога не длилась,
Потеряв километрам и времени счет,
К этой древней земле лишь однажды приблизясь,
Ощущаешь, что можешь быть ближе еще...

...И когда накренились проходы и кресла,
Море вдруг обмелело и говор умолк.
Эта близость рождалась, и зрела, и крепла,
И росла, собираясь у горла в комок.

И к земле и на землю, спускаясь по сходням,
Ты как будто ослаб, и ослеп, и оглох...
Эта близость росла, это было Исходом,
Это было Исходом, не быть не могло!

...И тогда, на захлебе их первой атаки,
На исходе кромешного Судного дня
Ты лежал и смотрел на горящие танки,
На горящее небо, на реки огня...

Мы порой доверяли простому везенью —
Это шанс напоследок: а вдруг повезет?
Ты лежал и вдыхал раскаленную землю,
Эту горькую землю Голанских высот.

Эту горькую землю в прогалинах сизых,
В грудах стреляных гильз и в обломках камней...
Так к ней близок, что был и представить не в силах,
Ты не знал, что уже не расстанешься с ней.

Вот на этом холме, под расколотой елью,
У скрещенья дорог, в этот час, в этот бой
Ты едва понимал, что становишься ею.
И она навсегда становилась тобой.

Это было бесхитростным, было исконным...
И до мозга костей, и до корня волос
Это было Исходом, великим Исходом,
Так бывало всегда, так навек повелось.

И не быть по-другому — ни ада, ни рая
Мы не ждем, и на грани опущенных лет
Мы становимся этой землей, умирая.
Это длится Исход, и конца ему нет!

ИУДЕЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Мы в анналы взглянули — и сникли, и скисли.
Разберись и пойми по прошествии лет:
То ли нам не везет в историческом смысле,
То ли смысла ни капли в истории нет.

До чего эта летопись нынче богата —
Передать не могу, говорить устаю.
Мы в такую историю влипли, ребята,
И притом не в одну, и вообще не в свою...

Нам однажды в пустыне вручили скрижали:
Донеси, говорят, и за труд не сочти.
В географии нас, как известно, прижали,
Но в истории нас уморили почти!

Потаскай эту тяжесть по солнцу и пыли
На воде да маце — надорвешься небось!
Потому мы, наверное, избраны были,
Что желающих больше нигде не нашлось.

Где-то нация нацию с карты стирала,
И добро регулярно увечилось злом.
У кого-то развитие шло по спирали,
А у нас врассыпную развитие шло...

Всевозможные нами играли стихии,
И пока у людей все текло по-людски,
Мы зачем-то в истории лезли чужие,
А свою разрывали всегда на куски.

Отчего мы с другими шагали не в ногу?
Почему не искали пути своего?
У кого-то в итоге — всего понемногу,
А у нас в результате — всего ничего.

У кого-то история — будьте покойны:
Там имен, и времен, и событий — не счесть!
Там интриги, пиры и столетние войны,
Королевская власть и фамильная честь.

Ну и что, говорят, это кануло в Лету.
Все прошло, все пропало во мраке ночном.
Но у нас даже в Лете подобного нету..
Что же делать? Давайте сначала начнем!

Все же мы под ударами злой непогоды
У неверных отбили святыя места.
Это как бы крестовые наши походы,
Хоть и нету на нас, как известно, креста...

Мы в истории стали гораздо заметней,
Все свое наконец, даже некуда класть:
Свой исход со своею войною столетней
И своя же впридачу еврейская власть.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Заснежило к маю,
Поземка бела.
Была ли? Не знаю.
Давно ли была?

Награда — недоля,
Знакома — странна,
Свобода — неволя,
Страна — не страна.

Звенела негромко
По роще пила...
Сегодня — поземка,
Но прежде была

Жестока — безвинна,
Минутна — вечна,
Отчизна — чужбина,
Весна — не весна.

В разладе, в расколе
За тысячу лет
Не знаю, прошло ли,
Стихает — и нет...

Кто помнит, ответьте:
Бела — не бела,
Была ли на свете
Такая страна?

Доказано, спето,
Прискучило нам...
А знаете, где-то
Забывтые. Там

Деревья белесы
Качались, и тек
Из тела березы
Березовый сок...

Фортуна, стихия,
Ручная пила...
Простимся, Россия, —
Была, не была!

На горе, во благо
По коже со щек
Особая влага —
Березовый сок...

ПРОГНОЗ

Страна срисована как будто
Шутя, с гусяного пера...
Она слегка мала кому-то,
Но ведь всему своя пора...

Гранит рассыплется, разможен,
Цветами загорится весь...
И если рай земной возможен,
Наступит он, конечно, здесь.

Тогда вернется на скрижали
То, что писалось на воде.
И те, которые сбежали,
Найдутся запросто, везде...

И на порог былой пустыни,
Изображая верных чад,
Они придут, чтоб их пустили
Еще при жизни в райский сад.

И мы не ангелы по крою,
Но сажены свои оливы
Когда-то поливали кровью,
Едва до капли не пролив.

И глядя, как теснятся в игре
Все беглецы минувших лет,
Мы скажем им: «Судите сами —
Страна, покинутая вами,
Слегка мала, судите сами.
У нас, простите, места нет!»

АНДРЕЙ УСАЧЕВ

Во святой Израиль со святой Руси
Я приехал жить с папой-мамою.
Там кричали мне: — Ой, ты, гой еси!
Да и здесь кричат то же самое.

Папа русский мой, мать евреечка,
А я — несчастный гой, канареечка!

Разрываюсь я вечно пополам,
Вот устроил Бог зоологию:
Левая нога не желает в храм,
Ну, а правая — в синагогию...

И куда идти мне с повинною
Со второй моей половиною?

Русский глаз, как волк,
В Брянский лес глядит,
А другой, подлец, косит в Азию —
И имею я несуразный вид,
И приду, видать, к косоглазию!

И ушанка мне, и кипа к лицу,
И двойной хожу я походкою.
А на зуб один я беру мацу,
А другой — не прочь сала с водкою!

А в генетике — я ни в зуб ногой:
Чей, к примеру, нос? Или по носу —
Потому как я разнесчастный гой —
Пограничную вести что ли полосу?

И ко всем вставить разным профилем,
К этим — шнобелем, к тем — картофелем?

И идет война у меня в крови.
И мерещатся сны интимные:
Канареечке на предмет любви —
Обе нации не противные!

Вот я брошу пить водку горькую!
И — чем ждуть другой инкарнации —
Стану жить я с какой-нибудь гойкою
И детей нарожу новой нации.

А пристанут к ним с пятою графой,
Напишу я им: *стопроцентный гой!*

ЕВРЕЙСКАЯ МОЛИТВА

Когда меня еврейский Бог
Возьмет на небеси,
И скажет мне еврейский Бог:
— Что хочешь — попроси...
И скажет мне еврейский Бог:
— Ну, что молчишь, проси!

Не попрошу я у него
Различных райских льгот,
Не попрошу я ничего
От божеских щедрот,
— Взгляни, о Боже, — я скажу, —
На бедный мой народ!

Ты дал нам царскую печать,
И посох, и завет.
И мы несем твою печать
Почти пять тысяч лет,
И мы несем свою печаль
Почти пять тысяч лет...

Любви твоей был горек плод.
Даруй нам благодать...
Во имя всех твоих сирот
Даруй нам благодать...
Мой богоизбранный народ
Прошу переизбрать!

ОСЕНЬ

Странно живется
В Афуле Емеле:
Осень настала.
Грачи прилетели.

АЛЕКСАНДР БАРАШ

Лежа в gripпе, как в сальном салопе,
в полу-Азии, четверть-Европе,
четверть-черте-чего, в метрополии —
в стольном гробе Москве, ввечеру,
что я чувствую? — Меланхолию
от сознания, что не умру —

буду жить и любиться в салопе,
в полу-Азии, четверть-Европе,
четверть-черте-чего, на юру
наших полусуществований,
четверть-черте-чего, четверть-знаний,
ноль — эмоций et cetera

В монастырском пруду отражаются — или
только в нем и сидят трехсотлетние ивы,
разрастаясь корнями в зеркальные дали,
где вороны гнездятся в продавленном стуле.

А когда-то водились караси и налимы,
и под утро топились несчастные лизы,
а потом — подошли социальные кризисы,
замутили всю воду, все съели — и мимо.

И теперь сквозь пролом в монастырские башни
потянулись пьянчуги, школярские шашни,
коммуналки по кельям, картошка в саду
и — бычки завелись в монастырском пруду.

В продуктовом, когда ни зайдешь,
рафинад есть, горчица и крупы,
и мясник в глубине точит нож
над каким-то реликтовым крупом.
Отвернусь, пощажу свои нервы
и возьму для проформы консервы.

Только в винном всегда есть товар,
там всегда атмосфера премьеры,
наводнение и легкий пожар.
И какие-то красные кхмеры —
клика хилых, но злобных людей —
не сдаются милиционеру
в рукопашном бою у дверей.

ИЗ ПОЭМЫ «ПРЕКРАСНЫЙ ИОСИФ»,

*посвященной Иосифу Каплунову,
деду по матери,
офицеру советской армии*

[37-й год]

Он сидел в Шепетовке — знаменитое место!
По уграм ему челюсть вставляли на место
Но ломал ее снова для общего дела
капитан Абрамович хрипя и балдея
и занудно ворчал: «Да сознайся ты гнида
а не то на расстрел приползешь инвалидом»

«Я пред партией чист!» — отвечал задыхаясь
Каплунов. Абрамович — пыхтел и работал
«Ну жидовская морда!» Каплунов: «Не раскаюсь!
Сам жидовская мо—»

Смачный хряск апперкота

За окном пионеры топтались и пели
Чкалов в небе ширял а «Седов» бился в льдинах
Абрамович все бил по намеченной цели
В Шепетовке тянулся глухой поединок...

Я не помню в лицо очень многих живых
и ближайших а дедовы щеки — я помню
При прощаньях и встречах так часто я терся о них
с многословной неловкостью и бессловесной

любовью

Разговор был коряв и на краешке стула
и нога затекла и из форточки дуло

— Да нормально. Как ты?

— Да что я? — и смешок. — В школе как?

— В институте?

— Малыш?

— Хорошо.

БАЛЛАДА О НЕВРОЗЕ

Как ныне прощается с телом душа...

Л. Лосев

Нет я не растерян я как бы убит:
душа хочет к телу вернуться
а тело — не хочет лежит и грубит
и ноет призывно как Надсон
Благие порывы глухие позывы
а годы уходят как жены желтеют как нивы

А мозг не приучен так долго болеть!
Он слишком классичен как русский балет
ему слишком много свободы
На линзу надежд и таких перспектив
опыт натягивает объектив
а годы проходят как мертвые роды как смена погоды

Сказать что не сдамся — пустить петуха
Противник как прежде — безвиден
Чего-нибудь стоила б эта тоска
когда бы была на иврите
Россия — не Рим и лет десять не в моде
консервы «Овидий в Тавриде»

Имперских претензий высокий невроз
неадекватность и русский вопрос —
роднее чем пальма и кактус

Отречься от вас — все равно что предать
словосочетание еб твою мать
скандал карнавал и катарсис

Нет я не растерян я как бы убит
душа хочет в тело вернуться
а тело не хочет — лежит и грубит

Я к себе обращаюсь как столп соляной — к человечности
как пустыня — к весне как дорога — к лежащим на ней
как пластинка к игле риторика — к речи
к арабу — еврей

Потому что нет сил оставаться без сил и пенять на
а хамсин в голове — это баня для тех кто к себе не готов погоду
чьи глаза превратились в целлофановые пакеты
кто из виду исчез сняв свое меховое пальто

Эти тени бегут на экскурсии по «булгаковскому Иерусалиму»
им под каждой оливой поет троекратное кукареку
а под утро приснится страна где росли мы
как пила на суку

Я к себе обращаюсь как черт обращается к ладану
я к себе обращаюсь как плач превращается в свист
Я — к себе муэдзин — на восток Маяковский — к портрету
Ленина
и к земле — банановый лист

За спиной — Москва за пустыней — Каир
а за дальней горою — Амман
сунешь руку в карман там не кукиш — инжир
или — если нет денег — хурма
Под ногами сухая как пепел земля
Мандарины опали — зима

Иногда дохожу до того что готов
в черной шляпе и пейзах по грудь
с выраженьем лица что *аколь мол ло тов**
обсуждать на углу что-нибудь —
в окруженьи таких же горячих теней
в этом месте где небо гуще чем клей

Смерти нет потому что есть вещи важней
Грани нет между костью камней
и горою костей Есть — негласный надзор
равнодушно-внимательных гор
и задержанный вздох — заторможенный рост
белых ребер античных террас

За спиной — Филистии сиреневый дым
средиземного мира волна
за горой — иорданский король-бедуин
предо мной — золотая Стена
Смерти нет потому что есть вещи важней
в этом месте где небо гуще чем клей

* Всё плохо (*ивр.*).

ВИКТОР ГОЛКОВ

В Палестине русский язык уместней, чем прочие,
в силу сходства сионизма и русской идеи.
Но лишенный величия и полномочий,
он уйдет, когда вымрем, постепенно скудея.

А поскольку это случится не скоро,
можем смело сочинять романы и оды,
чтобы тускло желтели бумажные горы,
повествующие о днях смятения и раздора,

когда в гигантском историческом раскопе,
как тень идущего ко дну «Титаника»,
навек исчезла великая утопия,
уцелевшая в печах Освенцима и Майданека.

Нас крестила перестройка люто,
погружая каждого во тьму,
и осколки страшного салюта
догоняли всех по одному.

И острее запаха помойки,
нищеты, что над землей летел,
был угрюмый воздух перестройки,
сладкий дух непогребенных тел.

А свободы едкая отравка
все мутила головы, как хмель.
И лежала мертвая держава,
как в прорехах грязная постель.

Мертвые не имеют сраму,
но, толкаясь и кляня,
все разыгрывает драму
уцелившая родня.

Изживающая чудо
до бессмысленной черты.
И несутся пересуды,
как дубовые плоты.

Вой ночной машины резче
крика филина в лесу,
и о Родине зловещий
сон в предутреннем часу.



Сирина



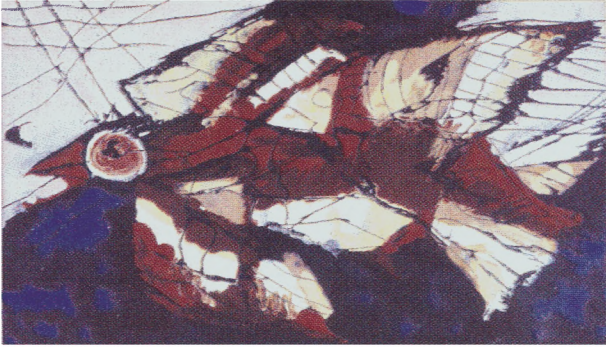
Фигура с поднятыми руками



Три фигуры



Семья



Летящие птицы



Тотем



Птица на скале



Птица Феникс

ЗАРУБЕЖЬЕ

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

Посошок напоследок,
Все равно что вода,
То ли так,
То ли — этак.
Мы уйдем в никуда.
Закружим суховеем
Над распутицей шпал.
Оглянуться не смеем.
Оглянулся — пропал!

И все мы себя подгоняем — скорее!
Все путаем Ветхий и Новый Завет.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

Мы теперь иностранцы.
Нас бессмертьем казнят
Пересадочных станций
Бесконечный транзит.
И как воинский рапорт —
Предотъездный свисток...
Кое-кто — на Восток,
Остальные — на Запад!

Под небом Австралий, Италий, Германий
Одно не забудь
(И сегодня, и впредь!),
Что тысячу тысяч пустых оправданий
Бумаге — и той — надоело терпеть!

Паровозные встречи —
Наша боль про запас.
Те, кто стали далече, —
Вспоминают ли нас?
Ты взгляни — как тоскует
Колесо на весу..
А кукушка кукует
В подмосковном лесу!

Ну что ж, волоки чемодан, не вздыхая,
И плакать не смей, как солдат на посту,
И власть обнимай своего вертухая
Под вопли сирен на Бруклинском мосту.

Вот и канули в Лету
Оскорбленья и вой.
Мы гуляем по свету,
Словно нам не впервой!
Друг на друга похожи,
Мимо нас — города...
Но Венеция дождей —
Это все-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,
И ветер с лагуны пронзительно сер.
— Вы, братцы, из Рима?
— Из Рима, вестимо!
— А я из-под Орши! — сказал гондольер.

О душевные травмы,
Горечь горьких минут!
Мы-то думали:
Там вы,
Оказались — и тут.
И живем мы, не смея

Оценить благодать:
До холмов Иудеи —
Как рукою подать!

А может, и впрямь мы, как те лицедеи,
Что с ролью своей навсегда не в ладах?!
И были нам ближе холмы Иудеи —
На Старом Арбате, на Чистых прудах?

Мы, как мудрые совы,
Зорко смотрим во тьму,
Даже сдаться готовы —
Да не знаем, кому!
С горя вывесим за борт
Перемирья платок,
Скажем:
Запад есть Запад,
А Восток есть Восток!

И все мы себя подгоняем:
— Скорее! —
Все ищем такой очевидный ответ.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

Когда я вернусь...
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —
И вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала — в крошечный, ничтожный, раешный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..
Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем —

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..
Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи —
Тот старый мотив — тот давнишний, забытый, запетый.
И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои!

Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!

А как вещи мои выносили,
Все-то вещи по мне голосили:
Расстаемся, не спас, не помог!
Шкаф дрожал и в дверях упирался,
Столик в угол забиться старался,
И без люстры грустил потолок.
А любимые книги кричали:
«Не дожить бы до этой печали!
Что ж ты нас продаешь за гроши?
Не глядишь, будто слезы скрываешь,
И на лестницу дверь открываешь —
Отрываешь живьем от души».
Книги, книги, меня не кляните,
В равнодушных руках помяните,
Не казните последней виной...
Скоро я эти стены покину
И, как вы, побреду на чужбину.
И скажите — что будет со мной?

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.
Но если Бог послал тебе правед
И смертная наглажена рубаха,
Не надо душу растлевать от страха,
А лучше сразу кинуться под нож.
Я не борец — прости меня, о Боже!
Я не герой — вы не герои тоже.
Я не искал судьбы с таким концом,
Чужая мука больше мне не в пору...

Опять звучат шаги по коридору,
Но лучше рот залить себе свинцом.
И я несу свой крест по Иудее,
И ни о чем на свете не жалею,
И пот слепит, и горло жажда ест,
И жгут мне спину оводы и плети...
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже,
Современники наши на вас непохожи —
Ни Самойлов, ни Кушнер — сравненье напрасно,
Даже Бродский не тот, это каждому ясно.

Но когда они входят — поспешно, без стука,
И садятся к столу, и трясут мою руку,
И читают стихи, — я глаза закрываю,
И как трудную строчку свой век забываю.

Задыхаюсь от счастья и от горя избытка,
И звенит колокольчик, и скачет кибитка,
И со мной на сидении — Господи Боже! —
Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже.

Ах, я все о них знаю... Я слушаю, плача,
Как читают стихи мне, судьбу свою пряча,
Три поэта, три ангела, три человека —
Непутевые дети двадцатого века.

К нам из Штутгарта звонят.
(Белый град стучит по крыше.)
Я волнуюсь... Я не слышу..
Кто к нам едет? Как я рад!
А вчера звонил Париж,
Я опять друзей увижу,
Как примчатся «из Парижу»,
Ты пирог соорудишь.
Кто еще звонил? Мадрид?
Вся земля к нам едет в гости.
Всех устроим на ночь... Бросьте...
Кто об этом говорит!
Лишь Москва и Ленинград —
Два пожарища, два рая,
Слез прощальных не стирая,
Как убитые молчат.

Ой, Алеша,
Спой, Алеша,
Про черемуховый цвет.
Нынче день такой хороший
Да России с нами нет.

Ой, Алеша,
Спой, Алеша!
Покатили наши гроши,
Наши русские гроши
В добродушные ладоши
На окраину души.

Как легко тебе внимают!
Как отлично понимают!

Запоешь «Калитку» или
Грянет грозный «Хас-Булат»,
— А вы сами сочинили
Эту песню? — говорят.

Очень хлопают, Алеша, —
До чего концерт хороший!

И закрывшись песней старой,
Пряча стыдных слез разбег,
Ты стоишь один с гитарой,
Бедный русский человек.

Закрой глаза — и ты опять в России:
Тревога ветра, полосы косые
Дождя и снега, снега и дождя...
И черный ангел над землей летает,
И мокрый снег с одежды не сметает,
Чтоб белым стать, немного погода.
И бедные дома Замоскворечья,
И тени их, лежащие у ног!
Чтоб белым стать, накинув снег на плечи,
По улицам кружится воронок.
И над Москвой, чей воздух неприкаян,
Трепещут и вонзаются во тьму
Два голоса сквозь снег:
«Где брат твой, Каин?»
«Я разве сторож брату моему?»

Дождь моросит и в Лондоне, и в нашем
Печальном городке. Мы под зонтами пляшем
От холода, и вдаль спешим рысцой,
И лишь дома подернуты ленцой.
Один из них особенно недвижим —
Стоит во всем великолепии рыжем.
Ты рядом с облаками, на шестом...
А Лондон... Но о Лондоне потом...
Ты то мелькнешь в окне, то исчезаешь,
Как будто нож то вынешь, то вонзаешь.
Ты без меня обходишься легко...
А в Лондоне... Но Лондон далеко.
На крыше дождь, на шляпу дождь струится,
Мой верный зонт нелепой черной птицей
Вздыхнул и умер над моим плечом...
А в Лондоне... А Лондон ни при чем.

Мне снился отъезд мой — все тот же,
точь в точь, —
На выдохе чувств, на пределе.
И были друзья нам не в силах помочь,
И только глядели, глядели...
Струилась асфальта тревожная ртуть.
Последние стропы рубили.
Я даже губами не мог шевельнуть
И понял: убили... убили...
О Боже, судьбу мою уговори!
О сжался хоть раз надо мною!
И если ты можешь, плечом подопри
Тяжелое небо земное.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

ПОЗЕМКА

Поэма

1

Извини, что беспокою,
Не подумай, что корю.
Просто, Коля, я с тобою
Напоследок говорю.

2

Чувствую себя живущим
Только в поезде идущем,
Где, насмешку и хулу
Даже и не замечая,
На грохочущем полу
С кружкой поездного чая
В зимнем тамбуре стою,
Сияясь вспомнить жизнь свою.
Жизнь, которая убога,
По которой шел, как мог.

3

У войны войны не много,
Только пыль из-под сапог.

Видно, выписали рано...
Недолеченная рана
Мне покоя не дает,
Ноет, и какой-то ратник

Подсадил меня в телятник,
Взгромоздил меня народ
В поезда и в эшелоны.
Всенародно взгроможденный,
еду медленно на фронт.

Если не было такого,
Если даже память лжет,
Было это как Исход
из Египта мирового.
И моя ли в том вина,
Что скажу и за могилой,
Что куда родней война
Мне, чем то, что после было.

Что военная страда
Показалась тогда
Мессианским двум народам
Моисеевым Исходом,
Что почти никто не смог
Осознать на этот срок,
За почти четыре года
Похоронок и могил,
Что желанного Исхода
День победный не сулил.
Да и мало кто заранее
Победив на поле брани,
Понял, что в его сознание
Побежденный победил, —
Кончилось и началось, —
И в конце концов пришлось,
Довелось проститься, Коля
Тряпкин, истинный поэт,
Потому что получилось
То, чему названья нет.

Получилось — виноваты
Иудеи — супостаты,
На которых нет креста
В том, что взорван храм Христа, —
Превратился рай в харчевню,
Трезвый край и в пьянь,
и в рвань,
Раскрестьянили деревню,
Расказачили Кубань,
И в подвале на Урале
Государь со всей семьей,
Получилось, — мной расстрелян,
Получилось — только мной.

Получилось, что некстати
Мне попался тот журнал,
Где прочел твое «Проклятье»
И поэта не узнал.
Или, может быть, оплошка
Эта белая обложка,
Под которой только тьма
Черная и вопль «Проклятья»
Против иноверца-тата, —
Строки твоего псалма.

Неужели жизнь для вида
Прожили и ты, и я,
Превратив псалом Давида
В бормотуху бытия,
Не сужу — не Судия, —
И на старческую ярость,
На страдальческую старость
Твой псалом спишу скорей,
Чем тебе в вину поставлю
Или чем тебе оставлю

Ничего, что Петр — еврей, —
Ты воспел его когда-то,
Не бывает виновата
Музыка, — и двери в рай
Открывает. Но прощай...

Унесу в котомке тяжкой
Только 5-ю статью.
Ты в кафешке за рюмашкой
Досидишь тоску свою.

С милой Музой откровенен
Ты бывал по мере сил,
Был не Клюев, не Есенин,
Не Архангел Гавриил.
Ни Захарию о Сыне
Ты не благовествовал,
Никаких вестей Марии
Никогда не подавал.
Но поэт — не справа-слева —
Ты Заступницей храним
В небе своего напева,
Звуков райских Серафим.

Твой напев туда возьму я,
Чтобы на Земле Святой,
И горюя, и ликуя,
Слышать, Коля, голос твой,
У олимов полуниц
Вымогая на пропой
На пороге синагоги,
Как на паперти скупой.

Много дней промчалось
зряшных,

Нашу молодость губя,
Но имеется заглажник,
Несомненно, у тебя,
Что в заглажнике — не знаю,
Только знаю — что-то есть,
Может быть, еще услышу
От тебя благую весть.
От равнины ветер веял
Там, где я так долго жил,
Верил в то, во что не верил,
Вере истово служил,
И прислуживал неверью,
А теперь стою за дверью,
К прошлому повернут вспять,
Продолжаем повторять:
«Мне была Россия — мать».
И оплакивать потерю,
И неверующий тать
И славянофил — подспудно...
Принимать решение — трудно
Тяжелей — не принимать...

4

Таня мной была любима,
Разлюбить ее не смог.
А еще любил Вадима
Воспаленный говорок.
Даже если это бредни,
Даже если просто бред,

Даже если в день последний
Ничего другого нет,
Даже если не по крови,
А по слову состою
И прописан в русском слове
За особенность свою,
За терпенья кругового
Мандельштамову смолу,
Привкус дыма и несчастья, —
Деготь совестный труда, —
Навсегда — не навсегда, —
Сохрани в арийском иге,
Неспособном созидать
Положительных религий
Собственную благодать,
Сохрани в арийском мире
За трансцендентальный гул
Псалмопевческой псалтыри.
Ах, зачем в пути свернул
И поверил, что простили,
Сам не знаю... Знать, пора
Трудным росчерком пера
Положить пределы тайне,
Выраженной в бормотанье,
Дописать и сразу сжечь
Лихорадочную речь
Одного из малых сих,
Вложенную в бедный стих,
Непричастный благостыне,
Повествующий в унынье
Об извечной героине —
О толпе... Да я и сам
Осквернял торговлей Храм,
Оскверняемый поныне
Преступившими порог...

Воплем небо сотрясая,
Лиру чуждую Исая
В круг пророческий вовлек,
И была Глава Шестая
Озаглавлена «Пророк».
И не молкнет голос в Храме,
Полном светлых риз краями,
И дозавершить дела
Срок пришел. Необходимо
Рукописи сжечь дотла,
Не оставить даже дыма
От земного бытия...
Сам же я сказал, что я
Постоянный представитель
Малых сил, не Промыслитель,
Осененный высотой,
Не пророк и не святой,
Но в тебя не верю, гласность,
Вижу всю твою напрасность,
Неестественность твою,
Безусловную опасность,
Уголовную статью.

Я не жду от жизни чуда,
Но, рассудку вопреки,
Извлекаю из-под спуда
Стародавние стишки, —
То, что, в оттепель не веря,
Раздраженно сочинял
Марк Валерий
Марциал.

Вспоминаю что-то вроде,
Что-то сам не знаю что,
Что никак не на пленэре
И нисколько не Ватто,
Что Россия вся как плаха
От Ивана Калиты,
Собиратели ГУЛАГа,
На которой я да ты,
Ты да я — и век от века
Кровью плаха залита,
И 101-я верста —
Историческая вежа.
За 101-ю верстой,
Где живет народ большой,
Там же проживает малый
Со своей большой виной,
Потому что он виновен,
Что греховен род людской.

Но один какой-то случай
В память врезался, запал,
Я его на всякий случай
По привычке записал.
Случай необыкновенный,
Хоть и вроде бы простой,
Что случился предвоенной
Незапамятной зимой, —
Как по улице Никитской
Снеги белые мели,
И к писателю коллеги
Сотрапезничать пришли,
Выпить водки, а не чая,
Закусить и покурить

И, крамолу исключая,
Обо всем поговорить,
И, сердца друг другу тронув,
Уронить слезу на стол,
И меж них Андрей Платонов
Тоже ужинать пришел.
Под венецианской люстрой
Стол по-зимнему накрыт,
Всяческие разносолы
Возбуждают аппетит,
Туго скатерть накрахмалена,
И Кустодиев, Шагал
На стене заместо Сталина...
Только кто-то вдруг сказал,
К сотрапезникам добрея:
«Все ж приятно, что меж нас
Нет ни одного еврея».
И никто ему в ответ
Не сказал ни да, ни нет.

Только встал Андрей Платонов,
Посмотрел куда-то в пол
И, не поднимая взгляда,
К двери медленно пошел,
А потом остановился
И, помедлив у дверей,
Медленно сказал коллегам:
«До свиданья. Я еврей».

Воротить его хотели,
Но не вышло ничего,
Кланяюсь его уходу, —
Поклонился бы народу,
Что не полон без него.
Даже если этот случай

Не переживет века, —
Подноготную люблю
Обнажит наверняка,
Потому что правдой жизни
Правит правда языка.
Но за то, что вместе с ним
Не ушел в метельный дым,
Принял на душу не малый
Грех за то, что не ушел,
Не покинул этот стол
Этой пиршественной залы, —
За великие вины
(После мира и войны)
В угол каменной стены
Славной родины сыны,
Опыт выказав немалый
(Суперпрофессионалы),
Трижды бросили меня.
И крошечных трое суток,
Сразу потеряв рассудок,
Пролежал в застенке я.
А за что? За то... И все же
Не за это... Произвол
Произволом. Так за что же?
А за то, что не ушел
На Никитскую, в летучий
Горностаевый снежок, —
И за то, что этот случай
В памяти не уберег.
Был я молод, как-то выжил,
Кое-как на волю вышел,
Но на воле воли нет...
И уж если был впервые
Недобит в Сороковые,
То теперь, на склоне лет,

И заточку, и кастет
Надо к этому прибавить,
Чтобы опыт углубить,
Надо все-таки добить,
Чтобы родину прославить.

6

Помню, как читал когда-то,
Перед самую войной,
Канта из Калининграда
Книгу Логики Большой,
Что от зла добра немало
На земле проистекло,
От добра проистекло
Обязательное зло.

Но и это все — схоластика,
Потому что по Москве
Уже разгуливает свастика
На казенном рукаве.
На двери, во тьме кромешной,
О шести углах звезда
Нарисована поспешно, —
Не сотрется никогда.
Темная заходит злоба
За неоохотный ряд, —
И кощунственно молчат
Президенты наши оба.
И в молчанье — христиане.
Уклонились от родства
С тем, кто Савлом был сперва,
Стал создателем Христовой
Церкви и ее основой.
Только высится глава

Храма, где цари короной
Венчаны, и в электронной
Вилле северной молчит
Православной веры щит,
Мрачный летописец, словно
Знать не ведает о том,
Что его отец духовный
Уж зарублен топором.
Или, может быть, об этом
Что-то скажет он потом.

К мученическому сану
Не причислен был Отец.
Но возлег ему на рану
Мученический венец.

7

Все, быть может, всех убили,
А не тот убил того.
Но узнать о том у пыли
Лагерной возможно или
Не узнать ни у кого.

8

Может... Сам не знаю... Все же...
Если б слово хоть одно
Ты, поэт по воле Божьей,
Произнестъ решился... Но
Что теперь... Простимся, Коля
Тряпкин – истинный поэт.
Неужели Божья воля
То – чему названья нет.

Не вечно достоевским бесам
Пророчествовать и пылать.
Хвала и слава мракобесам,
Охотнорядцам исполать.

Все на свои места поставлю,
Перед законом повинюсь,
Черту оседлости прославлю,
Процентной норме поклонюсь.

В них основанье и основа
Существованья и труда,
Под их защитой Зускин снова
Убит не будет никогда.

ТРИПТИХ

1

Нет на свете ничего щедрее,
Чем война, дающая займы.
Здравствуйте, военные евреи,
В блиндажах слагавшие псалмы.

Наш псалтырь, «наш SOS все глуше, глуше»,
Все тесней на шее вервь обид,
Все большей, ожесточенней души,
Да и был ли кроток царь Давид?

Гонят нас. А мы не уезжаем.
И за это, в свой последний миг,
И стыдимся, и не уважаем
И друг друга, и себя самих.

Ну, а те, кто, поклонясь ОВИРу,
Сквозь последних унижений яд,
Разбрелись отравленно по миру,
То же, что и мы, в себе таят.

Нет на свете ничего щедрее,
Чем война, дающая взаймы.
Здравствуйте, военные евреи,
В блиндажах слагавшие псалмы.

2

Пускай другого рода я
И племени иного.
Но вы напрасно у меня
Конфисковали Слово.

Ведь Слово — родина моя
И всех основ основа,
И вы напрасно у меня
Конфисковали Слово.

Конечно, дело не во мне,
Убитом на другой войне,
В огне иных сражений,
А в том, что, здесь увидев свет,
На даче, до недавних лет,
Великий русский жил поэт,
Русскоязычный гений.
И жизнь была его сестрой,
И был недавний предок мой
Схоронен здесь в земле сырой,
В палящий, душный, майский зной
Бессолнечновесенний.

Не обо мне, конечно, речь,
А о моем предтече.
Вам долго предстоит беречь
Его божественную речь,
Часть речи – вашей речи.

Он отодвинул далеко
Мишень, – и пули в молоко
От вас уйдут в полете,
Он поднял планку высоко,
Вам будет прыгать нелегко,
И вы ее собьете.

Э

Где-то в сороковые впервые
Мне указано было на дверь.
Стыдно, что не покинул Россию
И уже не покину теперь.

Может родина сына обидеть
Или даже камнями побить,
Можно родину возненавидеть,
Невозможно ее разлюбить.

Ты прожил жизнь... Там прожил, где тебя
Всегда любили, ненавидя люто,
И люто ненавидели, любя,
Так надо было небу. Не кому-то.
Ты избран был не кем-то. Избран им,
Служить ему – и только, и за это
Был ненавидим всеми и любим
По воле неба и Его Завета.

Тот, кто был на Соловках туристом
Или зеком, понял, что раскол
Зародился в том краю лесистом
И по всей истории прошел.

Русская история угрюма,
На себе замкнутая смутна,
Вся она — раскол — от Аввакума
Вплоть до Горбачева-Ельцина.

От раскола все ее идеи,
Вся возня и смута от него,
Никакие пришлые злодеи
В ней не изменили ничего.

Что сейчас в России происходит?
Просто продолжается раскол.
Протопоп в костер спокойно входит,
Так же бос и так же полугол.

Возжаждав неожиданно свобод,
Качать права верхи элиты стали,
И, как всегда, безмолвствовал народ,
Свободой озабоченный едва ли.

В низах элиты все наоборот,
Охотный ряд свои имеет нужды —
И, как всегда, безмолвствует народ,
И тем, и этим в равной мере чуждый.

Святых немало испокон в России, —
И те — на Белой площади — пятьсот,
А позже тысяч пятьдесят — святые,
И, как всегда, безмолвствует народ.

На семи на холмах на покатых
Город шумный, безумный, родной,
В телефонах твоих автоматах
Трубки сорваны все до одной.

На семи на холмах на районы
И на микрорайоны разят, —
Автоматы твои телефоны
Пролетарской мочою разят.

Третьим Римом назвался. Не так ли?!
На семи на холмах на крови
Сукровицей санскрита набрякли
Телефонные жилы твои.

Никогда никуда не отбуду,
Если даже в грехах обвиня,
Ты ославишь меня, как Иуду,
И без крова оставишь меня.

К твоему приморожен железу,
За свою и чужую вину,
В телефонную будочку влезу,
Ржавый диск наобум поверну.

БЛАГОДАРЕНЬЕ

Вашингтон
даже в пору зимы
почему-то купается в зное,
Даже в самом разгаре зимы
на прямых авеню
почему-то печет,
И огромный костел
уместился в окошке слепом;
небольшое
Уместило оконце мое
пламенеющей готики взлет.

Далеко от Христа
этот белый костел,
этот черный,
Негритянский, высокий, просторный,
Тесный от небывалого столпотворенья
Перед праздником Благодаренья.
Нынче службу впервые отслужит веселый
Черный ксендз.
Многонациональны костелы...

Слышу голос, усиленный в меру
Микрофоном.
Повсюду слышна
Речь ксендза —
и меня удивляет она:
Не царя, не отечество славит,
не веру,
А условия парковки машин у костела,
которая категорически запрещена.

Неожиданный снег появляется над
Вашингтоном —

Прямо в зной.

Но пока не лежится ему на газоне зеленом,

На траве изумрудной, густой

В то же время

в костеле

со всеми поющими встану

И услышу гитару, которая вторит органу,

Или наоборот.

И, раскачиваясь, пританцовывая вождельно,

Весь костел за коленом выводит колено,

В духе битлзов поет.

Размышляю (быть может, наивно), —

Значит, Богу все это ничуть не противно,

Значит, Богу не чуждо и, может быть, даже

угодно,

Что его непослушные чада

и счастливо так и свободно

Под орган и гитару выводят псалмы.

Вашингтон — это юг.

Только тень, только промельк зимы.

(А зима — в Миннесоте, но ей неизвестно, какие

На нее возлагает надежды пришелец,

за все благодарный разнузданной

темной стихии.

Он печется смешно и беспомощно не о себе:

Может быть, Миннесота озерная примет участие

в судьбе,

Улыбнется последней любви его безответной,

Полуженщине, полуребенку с каким-то

мятежным лицом

Наркоман обливается потом,
Но со всеми поет, пританцовывая,
Жизнь погибла земная... Да что там...
Обязательно будет иная. И новая.

Ксендз кончает пастьбу,
и счастливое стадо
Возвращается с неба на землю,
испытывая торжество.
Все встают,
как у нас в СССР говорят,
и поют,
что бояться не надо
Ничего... ничего...

НАУМ КОРЖАВИН

ИЗ ПОЭМЫ «ЗОЯ»

Мы родились в большой стране, в России.
Как механизм, губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учителя.
Мальчишки очень чуют запах фальши.
И многим становилось все равно.
Возились с фото и кружились в вальсах,
Не думали и жили стороной.

Такая переменная погода!
А в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

Но те, кто был умнее и красивей,
Искал путей и мучился вдвойне...
Мы родились в большой стране, в России,
В запутанной, но правильной стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь только с нею,
А без нее их нету вообще.

Мир еврейских местечек...
Ничего не осталось от них,
Будто Веспасиан
здесь прошелся
в пожарах и гуле.

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Вьюга вое тончайшей свирелью,
И давно уложили детей...
Только Пушкин читает нозли
Вольнодумцам неясных мастей.
Бьют в ладоши и «браво». А вскоре
Ветер севера трупы качал.
С этих дней и пошло твое горе,
Твоя радость, тоска и печаль.
И пошло — сквозь снега и заносы,
По годам летних засух и гроз...
Сколько было великих вопросов,
Принимавшихся всеми всерьез?
Ты в кровавых исканьях металась,
Цель забыв, затеряв вдалеке,
Но всегда о хорошем мечтала
Хоть за стойкою

вдрызг

в кабаке —

Трижды ругана, трижды воспета.
Вечно в страсти, всегда на краю...
За твою необузданность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, опуститься,
И возвыситься,
дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная
жилка твоя.

ПОДОНКИ

Вошли и сели за столом.
Им грош цена, но мы не пьем.
Веселье наше вмиг скосило.
Юнцы, молодчики, шпана,
Тут знают все: им грош цена.
Но все молчат: за ними — сила.

Какая сила, в чем она.
Я ж говорю: им грош цена.
Да, видно, жизнь подобна бреду.
Пусть презираем мы таких,
Но все ж мы думаем о них,
А это тоже — их победа.

Они уселись и сидят.
Хоть знают, как на них глядят
Вокруг и всюду все другие.
Их очень много стало вдруг.
Они средь муз и средь наук,
Везде, где бьется мысль России.

Они бездарны, как беда.
Зато уверены всегда,
Несут бездарность, словно Знамя.
У нас в идеях разнорой,
Они ж всегда верны одной
Простой и ясной — править нами.

РОДИНЕ

Что ж, и впрямь, как в тумане,
Мне уйти — в край, где синь, а не просинь.
Где течет Иордан, —
Хоть пока он не снится мне вовсе.

Унести свою мысль,
Всю безвыходность нашей печали,
В край, где можно спастись,
Иль хоть согнуть, себя защищая.

Сгнуть, выстояв бой,
В жажде жизни о пулю споткнуться.
А не так, как с Тобой, —
От Тебя же в Тебе задохнуться.

Что ж, раздвинуть тиски
И уйти?.. А потом постоянно
Видеть плесы Оки
В снах тревожных у струй Иордана.

Помнить прежнюю боль,
Прежний стыд, и бессилье, и братство...
Мне расстаться с Тобой,
Как с собой, как с судьбою расстаться.

Это так все равно, —
Хоть Твой флот у Синая — не малость.
Хоть я знаю давно,
Что сама Ты с собою рассталась.

Хоть я мыслям чужим
Вторя страстно, кричу что есть силы:
— Византия — не Рим.
Так же точно и Ты — не Россия.

Ты спасешься? — Бог весть!
Я не верю. Все смертью чревато.
...Только что в Тебе есть,
Если зная, как Ты виновата,

Я боюсь в том краю, —
Если все ж мы пойдем на такое, —
Помнить даже в бою
Глупый стыд — не погибнуть с Тобюю.

Иль впрямь я разлюбил свою страну? —
Смерть без нее и с ней мне жизни нету.
Сбежать? Нелепо. Не поможет это
Тому, кто разлюбил свою страну.

Зачем тогда бежать?
Свою вину
Замаливать? —
И так, и этак тошно.
Что ж, куст зачах бы, отвратясь от почвы,
И чахну я. Но лямку я тяну.

Куда мне разлюбить свою страну!
Тут дело хуже: я в нее не верю.
Волною мутной накрывает берег.
И почва — дно. А я прирос ко дну.

И это дно уходит в глубину.
Закрыто небо мутною водою.
Стараться выплыть? Но куда? Не стоит.
И я тону. В небытии тону.

ВСЕ-ТАКИ ЖИЗНЬ...

То свет, то тень,
То ночь в моем окне.
Я каждый день
Встаю в чужой стране.

В чужую близь,
В чужую даль гляжу,
В чужую жизнь
По лестнице схожу.

Как светлый лик,
Влекут в свои врата
Чужой язык,
Чужая доброта.

Я к ним спешу.
Но, полон прошлым всем,
Не дохожу
И остаюсь ни с чем...

...Но нет во мне
Тоски, — наследья книг, —
По той стране,
Где я встать привык.

Где слит был я
Со всем, где все — нельзя.
Где жизнь моя —
Была да вышла вся.

Она свое
Твердит мне, лезет в сны.
Но нет ее.
Как нет и той страны.

Я плоть, Господь... Но я не только плоть.
Прошу покоя у Тебя, Господь.

Прошу покоя... Нет, совсем не льгот.
Пусть даже нищета ко мне идет.

Пускай стоит у двери под окном
И держит ордер, чтоб войти в мой дом.

Я не сержусь, хоть сам себе не рад.
Здесь предо мной никто не виноват.

Простые люди... Кто я впрямь для них?
Лежачий камень... Мыслящий тростник...

Всех милосердий я превысил срок,
Протянутой руки схватить не смог.

Зачем им знать и помнить обо мне,
Что значил я, чем жил в своей стране.

В своей стране, где подвиг мой и грех.
В своей стране, что в пропасть тащит всех.

Они — просты. Досуг их добр и тих.
И где им знать, что в пропасть тащат — их.
Пусть будет все, чему нельзя не быть.
Лишь помоги мне дух мой укрепить.

Покуда я живу в чужой стране.
Покуда жить на свете страшно мне.

Пусть я не только плоть, но я и плоть...
Прошу покоя у Тебя, Господь.

В ТЯЖЕЛУЮ МИНУТУ

Наш выбор прост. И что метать икру?
Я в пустоте без родины умру.
Иль родина сюда придет ко мне,
Чтоб утопить меня в своем г...

Довольно!.. Хватит!.. Стала ленью грусть.
Гляжу на небо, как со дна колодца.
Я, может быть, потом еще вернусь,
Но то, что я покинул, — не вернется.

Та ярость мыслей, блеск их остроты,
Та святость дружб, и нежность, и веселье.
Тот каждый день в плену тупой беды,
Как бы в чаду свинцового похмелья.

...Там стыдно жить — пусть Бог меня простит.
Там ложь, как топь, и в топь ведет дорога.
Но там толкает к откровенью стыд
И стыд приводит к постиженью Бога.

Там невозможно вызволить страну
От мутных чар, от мертвого кумира,
Но жизнь стоит все время на кону,
И внятна связь судеб — своей и мира.

Я в этом жил и возвращенья жду,
Хоть дни мои глотает жизнь иная.
Хоть все равно я многих не найду,
Когда вернусь... И многих — не узнаю...

Пусть будет так... Устал я жить, стыдись,
Не смог так жить... И вот — ушел оттуда.
И не ушел... Все тех же судеб связь
Меня томит... И я другим — не буду.

Все та же ярость, тот же стыд во мне,
Все то же слово с губ сейчас сорвется.
И можно жить... И быть в чужой стране
Самим собой... И это — отзовется.

И там, и здесь... Не лень, не просто грусть,
А вера в то, что все не так уж страшно.
Что я — вернусь... Хоть, если я вернусь,
Я буду стар. И будет все не важно...

НАУМ САГАЛОВСКИЙ

ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ

Ах, куда мне свой звонкий голос деть?
Я спую тебе — ты курей неси.
Ты не гой еси, добрый молодец,
ты другой еси, ты еврей еси.

Хоть ты моисси,
хоть ты брейсси,
ты не гой еси,
а ты еврей еси! *(2 фраза)*

Ты узнай, дружок, хоть про сто миров,
пусть талант большой дал те Господи, —
не возьмут тебя в ящик с номером,
не понравится там твой нос, поди.

Ты ногой меси
от дверей КИСИ,
ты не гой еси,
а ты еврей еси! *(2 фраза)*

Был бы ты блондин, был бы я блондин,
да звезда твоя далеко еси!
Как сойдет в саду с белых яблонь дым —
так и ты, мой друг, успокоисси.

Успокоисси,
отогреисси,
ты не гой еси,
а ты еврей еси... *(Много фаз)*

ЖМЕРИНСКАЯ БАЛЛАДА
(перевод с жмеринского)

Жил старик со своею старухой.
Век прожили — не день и не год.
Вдруг старик, как укушенный мухой,
заявляет старухе развод.

«Что ж вы, граждане, в кои-то лета!..» —
говорит им товарищ судья,
а старик отвечает на это:
«Нету мне со старухой житья!

Тут такая пошла заваруха,
ты представь себе только, сынок, —
чуть усну я, как эта старуха
ест моими зубами чеснок!..»

*

Ах, друзья, вы мне милы и любы!
Так давайте же выпьем сейчас,
чтобы наши родимые зубы
не лежали отдельно от нас!..

ЕВРЕЙСКАЯ БАЛЛАДА
(перевод с китайского)

Вам эта песня будет, как сюрприз,
она вас развлечет, даю вам слово!..
Представьте, как-то в поезде сошлись
один китаец и еврей из Могилева.

Прищурившись от света фонарей,
направив на китайца желтый палец,
«Скажите, вы еврей?» – спросил еврей.
«Я не еврей, – сказал китаец, – я китаец».

Еврея не смутил такой ответ.
«А может, вы еврей?» – спросил он строго.
Китаец отвечал на это: «Нет,
я не еврей, и прекратите, ради Бога».

Еврей потрогал ручку у дверей,
упрямый – хоть сажай за это на кол!..
«Но может, вы еврей?» – спросил еврей.
«Да, я еврей!..» – сказал китаец и заплакал.

А поезд мчался к черту на рога,
от радио летели звуки танца...
Еврей сказал задумчиво: «Ага!..
Так почему же вы похожи на китайца?..»

*

...Я старый друг железной колеи,
простой командировочный скиталец.
Увы, молчат попутчики мои,
и мне никто не говорит, что я китаец...

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

ПЕРЕД СИНАГОГОЙ В ПРАЗДНИК СИМХАТ-ТОРА

Среди ермолочного ярморочного круженья
И пения еврейской молодежи под гитару
Среди роскошных как перины матрон
Празднующих день когда считается хорошим тоном
Прогуляться осенним вечером
В запруженном евреями пространстве
Между центральным комитетом колбасами и синагогой
Среди ликующей и лишней молодежи
Которая не знает что железных жерновов вращение грядет
Шныряет юноша в шапочке лиловой
Он радуется жизни он распродает
Еврейский календарь религиозный
Он выполняет финансовый план московской синагоги
А ноги юноши выплясывают «Фрейлекс»
А уши юноши под шапочкой лиловой
Вращаются как жерновята
Он перемалывает песенок слова
Он перехватывает толки разговоры
Он трансформирует дыхание толпы
В железный красный диалект отчета
Он алчно лупится белесыми пустынными глазами
Коленками от нетерпенья трется о штанины
Змеенком зреет пленка в магнитофоне
Он выполнил финплан и план Лубянки
Он ждет полуночи когда в квартале пустынном Свиблова
Ново-Гиреева или Перова
Ему откроет двери заспанная девка
Он выставит на столик кухонный водку колбасу и шпроты
Он позабудет те и эти вожделенные шпроты
Он не удавится
Как тот несчастный Идеалист

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР В ОЗЕРКАХ

...вольный
перезвон
трамвайных дуг
водяные чаши
закипают
на кострах
кругами
тройки тянут города шатров
пьяница прищурился на лик
цыганенок ли
жиденок ли
перевив
сосновых корневищ
кнutowище
удавить поджечь утопить разлить
кровь
по песку
желчь
вскипает
желваками щек
кнutowища щелк
кровь
на песке
ропись
все мы
вечные
жиды

ВИЛЛА БОРГЕЗЕ

Не будем проклинать изгнание. Будем повторять
в эти дни слова античного воина, о котором писал
Плутарх: «Ночью в пустынной земле, вдалеке
от Рима, я разбивал палатку, и палатка была
моим Римом».

Владимир Набоков

Случались собаки на Вилле Боргезе
Случались в том смысле что обитали
Случались собачью трубя бордельезу
Случались хвостами трубя о детали

Конкретная музыка тел шелестящих
Балетная пляска собачьего тела
Конкретная плачь о России болящей
Балетная плачь унеслась улетела

Собакою с римскими псами на Вилле
Скользучею рыбой из Тибра по травам
Забуть как доили давили травили
Забуть окаянную ласку Державы

На Вилле Боргезе в ночи итальянской
На самой роскошной окраине Рима
Бездомной собакою выть по российским
Навеки потерянным неповторимым

В траве перепутанной с волосами
Очнуться прижатым хвостами к ограде
Очнуться под римскими небесами
Твердя полоумно ах Наденька Надя

Ах Вера Верунчик ах Любушка Люба
Валюша Марина Катюша и Зина

Здесь тянут ко мне пуританские губы
Трезвейшие новоанглийские зимы

Когда умирать мне придется чуть живы
Прошепчут мои полумертвые губы
Мы стали чужими Россия чужими
А были своими сыны Иегуды

Как это забавно валяться в обнимку
С последней бутылкой с последним приветом
На Вилле Боргезе как старому снимку
На свалке истории вместе с конвертом

На Вилле Боргезе якшаться с трубящей
Компанией псов абсолютно античных
О Боже ну что же тебе до болящей
Души и до мраморных анемичных

Созданий наставленных между стволами
Как в Летнем Саду где когда-то ночами
Гуляли по стежкам-дорожкам стояли
Ночами под бледными небесами

Какие архангелы в трубы трубили
Какие опричники-псы нас губили
Какие иуды в любви нас топили
А мы все равно эту землю любили

Она отвергала она отторгала
Она изводила греховно зачатых
А нам нехватало нам все было мало
Пока нас не сжили со света проклятых

Пока не добрел я до варварской Виллы
Где псы и античные девы толпою
По стежкам-дорожкам гуляют как милый
Помнишь гуляли дома с тобою

ЛЕВ ЛОСЕВ

*ЛВО**

Как ныне собирается вещей Олег
спалить наши села и нивы.
Авось не сберется — уж скоро ночлег,
а русичи знатно ленивы.
Он едет с дружиной, в царьградской броне.
«Эй, Броня, подай мою бороду мне!»

А меч под подушкою будет целей,
меча мне сегодня не надо.
Я выйду из леса, седой лицедей,
скажу командиру отряда:
«Ты опытный воин, великий стратег,
но все ли ты ведаешь, вещей Олег?»

Допустим, я лжив, я безумен и стар,
и ты меня плетью огладишь,
но купишь ты, князь, мой лежалый товар
и мне не деньгами заплатишь.
Собой и потомством заплатишь ты мне,
как я заплатил этой бедной стране,

стране подорожника, пыльных канав,
лесов и степей карусели.
Нам гор и морей не видать, скандинав,
мы оба с тобой обрусели.
Так я предрекаю, обрезанный тюрк». —
И тут же из черепа черное — юрк.

* «Песнь Вещему Олегу», посвященная также тысячелетию крещения Руси, Артуру Кестлеру, Л. Н. Гумилеву, А. С. Пушкину, коню и змею.

«Не дрыгай ногою, пророка кляня,
не бойся, не будет укуса.
Пусть видит змеиное око коня,
что Русы не празднуют труса.
Пусть смотрит истории жалящий взгляд,
как Русы с Хазарами рядом сидят».

У них перемирие, пир, перегар.
Забыты на время раздоры.
Крещеные викинги поят булгар,
обрезанных всадников Торы.
Но полон славянскими лешими лес.
А в небе Стожары. А в поле Велес.

Еще некрещеному небу Стожар
от брани и похоти жарко.
То гойку на койку завалит хазар,
то вззоет под гоем хазарка:
«Ой, батюшки светы, ой, гой ты еси!»
И так заплетаются судьбы Руси.

Тел переплетенье на десять веков
записано дезоксирибо —
нуклеиновой вязью в скрижали белков,
и почерк мой бьется, как рыба:
то вниз да по Волге, то противу прет,
то слева направо, то наоборот.

Я пена по Волге, я рябь на волне,
ивритогобрид-рыбоптица,
А.Пушкин прекрасный кривится во мне,
его отраженье дробится.
Я русский-другой-никакой человек.
Но едет и едет могучий Олег.

Незримый хранитель могучему дан.
Олег усмехается вещи.
Он едет и едет, в руке чемодан,
в нем череп и прочие вещи.
Идет вдохновенный кудесник за ним.
Незримый хранитель над ними незрим.

СОНЕТ

Сомнительный штаб-ротмистр Фет
следит за ласточкой стремительной,
за бабочкой, и мир растительный
его вниманием согрет.

Все это – матерьял строительный,
и можно выстроить сонет,
и из редакции пакет
придет с купюрой убедительной,

и можно выстроить амбар,
а то ведь старый подгнивает.
Читатель, вздувши самовар,

в раздумье чай свой допивает:
«Где этот жид раздобывает
столь восхитительный товар?»

АПРЕЛЬ 1950

Вижу: вот он идет с медосмотра
с дифтерийной прививкой в плече,
и ребенка жидовская морда
розовеет и жмурится в нежном апрельском луче.

Как известно, в периоды Ирода дети
улыбаются сами себе.
Поднимается жар. Зажигается свет в кабинете.
Корифей дифтерита в сапогах зашагал по судьбе.

Он уже выбирает из русского списка комочки
еврейских фамилий.

Он в ночи-сортiroвочной составляет товарные поезда.
Но зачем прививается славянская тяжесть крылий?
Ах, зачем нам ширококрылость тогда?

Как слезу не сглотнуть в этом первом полете,
если сверху не то, что виднее — родней
трубы, крыши да в воробьином помете
триумфальные спины коней.

«Извини, что украла», — говорю я воровке;
«Обязуюсь не говорить о веревке», —
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая проблядь
Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.
Я молчу.

Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овес,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.

*DE PROFUNDIS**

Лежит на стойке друг-котище,
глазища зеленой со сна.
Я говорю: «Налей, трактирщик,
зеленого налей вина,
налей мне чарку зелена».

Трактирщик говорит: «Ну, Леш,
ну, что ты, Леша, воду мутишь?
Я бы налил, да как нальешь!
Ну, а налью — как пить-то будешь?
Иди, иди, и так хорош».

Я бы пошел, да как пойдешь —
не вытянуть подошв из ила.
«Извозчик, друг, не подвезешь?»
«Один подвез... Куда — чудило!»
Зеленый плещется овес.

А эта церковь как была,
да только поп уплыл куда-то,
и бирюзовы купола,
а золото зеленовато.
А вот и рыбка подплыла.

Улыбкой рыбкин рот распорот.
Вот в китель влит порядка страж.
Уж он-то, знать, залил за ворот.
Так возвращаюсь я в наш город.
Ах, рыбка, рыбка, что мне дашь?

* Из глубин (*лат.*). Начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим.

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
эти девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

РАЗГОВОР

«Нас гонят от этапа до этапа,
А Польше в руки все само идет —
Валенса, Милош, Солидарность, Папа,
у нас же Солженицын, да и тот
Угрюм-Бурчеев и довольно средний
прозаик». «Нонсенс, просто он последний
романтик». «Да, но если вычесть “ром”».
«Ну, ладно, что мы, все-таки, берем?»
Из омута лубянок и бутырок
приятели в коммерческий уют
всплывают, в яркий мир больших бутылок.
«А пробовал ты шведский “Абсолют”,
его я называю “соловьевка”,
шарахнешь — и софия тут как тут».
«А, все же, затрапезная столовка,
где под столом гуляет поллитровка...
нет, все-таки, как белая головка,
так западные водки не берут».
«Прекрасно! ностальгия по сивухе!
А по чему еще — по стукачам?
по старым шлюхам, разносящим слухи?
по слушанью “Свободы” по ночам?
по жакту? по райкому? по погрому?
по стенгазете “За культурный быт”?»
«А, может, нам и правда выпить рому —
уж этот точно свалит нас с копыт».

НА РОЖДЕСТВО

Я лягу, взгляд расфокусирую,
звезду в окошке раздвою
и вдруг увижу местность сирую,
сырую родину свою.

Во власти оптика-любителя
не только что раздвой и — сдвой,
а сдвой Сатурна и Юпитера
чреват Рождественской звездой.

Вослед за этой, быстро вытекшей
и высохшей, еще скорей
взойдет над Волховом и Вытегрой
звезда волхвов, звезда царей.

Звезда взойдет над зданьем станции,
и радио в окне сельпо
программу по заявкам с танцами
прервет растерянно и, по-
медлив малость, как замолится
о пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,
о сброде пьяниц и нерях.
Слепцы, пророки трепотливые,
отцы, привыкшие к кресту,
как эти строки терпеливые,
бредут по белому листу.
Где розовою промокашкой
вполнеба запад возникал,
туда за их походкой тяжкою
Обводный тянется канал.
Закатом наскоро промокнуты,
слова идут к себе домой
и открывают двери в комнаты,
давно покинутые мной.

С. К.

И, наконец, остановка «Кладбище».
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему — он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.

Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю — ничего не берет.

МИХАИЛ ЮПП

ПАРАЛИПОМЕНОН

Отпечатками чайний Божьих скрижалей,
Золотыми песками библейских равнин —
Приходили Пророки из сомкнутых далей,
Полыхая созвездьями мудрых седин.

И речей арамейских текли иорданы,
Непонятных, но близких по крови речей.
До краев наполняя водою стаканы,
Подносили, и тихо глаголили: Пей!..

Пей же, агнец заблудший левитова стада,
Этой чистой воды ты не пил никогда...
Ибо влага сия из Эдемского сада —
От Господняго промысла эта вода!..

Насыщался я этой водою Пророков,
Открывая в себе — откровенье веков.
И следил, как бежала от самых истоков
Иудейская, русско-еврейская кровь.

Пирамидами Азии, лоскутками Европы,
Через горные кряжи и мутные дни —
По следам иудеев брели юдофобы,
И взметались над стадом Господним огни.

Кровь, огонь и вода — и еще отпечатки
Испытаний двенадцати первых колен,
Истребляли в потомках благие зачатки,
Окаянными днями земных перемен.

Я смотрю на Пророков, я слушаю звуки
Непонятных, но близких по крови речей.
Простирая к России еврейские руки,
Вопрошаю: — Ну, чей же я, Господи, чей?..

СУДЬБЫ

О судьбы Руси и России!..
Потеряны годы в бессилье.
Разбросаны русичей корни,
Запутаны пряди волос.
Исчадья ползут, пригибаясь,
Живут, надо всем насмехаясь,
Обрубки занюханной дворни —
Ведущие нас на допрос.

О, судьбы нерусских народов!..
Погрызших в ярме живоготов,
Еще не забывших о прошлом
В сплетеньях советских корней.
Исхлестаны дни потрясений,
Но нет уже ваших селений.
А есть только в крике истошном —
Проклятья стране лагерей.

О, судьбы людей православья!..
Церквей и соборов безглавья.
Поход к осквернению кладбищ,
В истории русской пробел.
За что же мы прокляты Богом?
За что же взираешь ты волком,
Мой верный, мой школьный товарищ —
Ведущий меня на расстрел?..

Мы бежали от строя в надежде свобод,
Мы теряли свой скарб на крутых переездах.
Из товарищей – мы превращались в господ,
Растворяясь в еще недоступных нам безднах.

Что еврейского в нас, коли русский язык
С молоком материнским, с враждой юдофобства
Глубоко в наши души и думы проник,
Вызывая везде лишь одни неудобства.

И какие евреи мы, если в сто крат
Ближе нам эти песни разбойной России?..
Как магнитом нас тянут просторы назад
В забубенные дни и года расписные...

День обыкновенный, серый,
Распластался за окном.
Помолись, ведь ты не первый
Вспоминаешь о былом.

Нас так мало на чужбине
Разобщенно лезет ввысь,
Что как будто мы в помине
Не в России родились.

Что как будто бесноватый
Дьявол думы подстерег,
И вовлек в раздор, чреватый
Перекрестками дорог.

Оборотни вдоль обочин,
И кикиморы в кустах.
Каждый взгляд наш разворочен,
И подстерегает страх.

Сыпь попутного сужденья
Язвой въелась в телеса.
Лжем друг другу без стеснения
Про былые чудеса.

Перекраиваем смачно
Серость тех советских лет,
От которых мы удачно
Улизнули в Новый Свет.

В день американский, ясный,
Воплотивший наши сны,
Помолись за миг прекрасный,
И Россию помяни!..

СЛОВО

Я выбрал то, что на поверхности,
Затем случайно заострил,
Немного повертел для верности
И путешествовать пустил.

И шлю – просторы подминая,
Насквозь объемы проходя,
Все до мгновенья вспоминая,
Родные образы вводя, –

Разлук отеческое Слово,
Нанизанное всплеском бус,
Когда под Рождество Христово
Ко мне наведывалась Русь.

И пела нежно колыбельную,
Кровь разгоняя в тишине,
Вплетаясь в речь мою похмельную
В совсем не русской стороне.

Я распаялся, я до одури
Орал в краю чужих забот:
— Кто ж это спутал карты-козыри,
Царя с семьей пустив в расход?..

Чья ж это кривда неминуемая
Вошла в сегодняшнюю мысль,
Чтоб выщелачивалась лучшая
Из памяти потомков жизнь?..

Чтоб, изуродован измором,
От гегемонов, точно вор,
По коммунальным коридорам
Я убегал на задний двор.

Чтоб задыхался от нависшего
Распада дедовских могил.
И если бы не Свет Всевышнего —
Не выжил бы, не пережил...

ИОСИФ БРОДСКИЙ

СТАНСЫ

Е. В., А. Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Жене Рейму, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной кораблик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,
в ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый,
полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет в тоске замоскворецкой
пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
по желтой лестнице печальной,

и от любви до невеселья,
под Новый год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер,
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Время года — зима. На границах спокойствие. Сны
переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем,
и глаза праотца наблюдают за дрожью блесны,
торжествующей втуне победу над шучьим веленьем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле
ты увидишь, oprичь своего неприкрытого срама —
полумесяц плывет в запыленном оконном стекле
над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

Куполов, что голов, да и шпилей — как задранных ног.
Как за смертным порогом, где встречу друг другу
назначим,
где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог,
где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.

Не купишь на базах, не сорвись на глухой фистуле.
Коль не подлую власть, так самих мы себя переборем.
Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,
то не все ли равно — ошибиться крюком или морем.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилия.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обабделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих
нагайках.

Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе, но их
немота вынуждает нас как бы к созданию своих
этикеток и касс. И пространство торчит преискурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрив,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отскодова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обабдев от мороза,
паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?
Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чужь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдоц полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевок по стене. И не князя будить — динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА

(4 июля 1977)

Падучая звезда, тем паче — астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

*

Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

*

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звездам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.
Жужжание пчелы там главный принцип звука.
Там копия, щадя оригинал, безрука.

*

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и ребер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

*

Там при словах «я за» течет со щек известка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

*

Там лежучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.
Там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

*

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

*

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

*

Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.
Ее затынут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

*

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

*

и без костей язык, до вмятых звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она — судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

*

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

Я памятник воздвиг себе иной!

К постыдному столетию — спиной.
К любви своей потерянной — лицом.
И грудь — велосипедным колесом.
А ягодицы — к морю полуправд.

Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять, —
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталость вознесла.

Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят, —

в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.

НАБРОСОК

Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
Старуха чешет мертвый бок.
Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей – куча на полу.

Луна сверкает, зренья муча.
Под ней, как мозг отдельный, туча...
Пускай Художник, паразит,
другой пейзаж изобразит.

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерзших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

БОРИС ШАПИРО

Сон сна
пожирает виденье
дочерна раскалённым зрачком:
мне снится паденье во бденье,
на край тротуара ничком.

На серый асфальт с позолотой
трескучих кленовых листов,
на детство со сладкой дремотой
в тени милицейских постов.

Там кармин высвечивал будни,
там пели про праздник труда
и каждый четверг пополудни
кровянили морду жиды.

Так я узнавал о еврействе
от дворовых соседских детей.
Так просыпаюсь я в детстве,
кровавым крещеньем еврей.

ГОЛОС КРОВИ

Кубической воды
оранжевый кристалл,
на гранях воздух сух.

Стада моей беды
по рёбрам острых скал
пасёт библейский дух.

Несбыточный глагол
терзает хордой губ
окаменевший лик,

а на уступах гор
судьбы бубновый куб –
прозрачный сердолик.

И в нём, как в янтаре
за миллионы лет
увязнувший москит,

спит будущий Еврей,
в Торе сокрыв увет.
Спит каторжный левит.

Запаяно зерно.
Один свободный вдох
его освободит.

Как ярости ярмо,
как радости сполох,
как юности магнит,

на остриях гряды
высокий зреет клик,
и напрягает слух

кубической воды
библейский сердолик,
оранжевый пастух.

Который век? Вот Агасфер
еще гуляет. Старый сквер
оставлен справа, и к воде
он незаметно в суете
пришёл усталый, но пока
Москва ему не велика,
а всякий город интересен...

От набережных кислой Темзы
в прозрачный плёс Москвы-реки
удушья глиняные пенсы
каким-то чудом натекли,
и отражений влажный плис
у призрачных мостов и арок
перемежает верх и низ.

И это тоже как подарок:
немного, может быть, наивный,
но, наконец, пришедший сон,
где пальцы маминой руки
как музыка слышны спросонок,
как будто я приговорён
или совсем ещё ребёнок.

Вот приглушённые шаги.
Идут, подняв воротники
и второпях не замечая,
как, ненавязчиво легки,
снежинки тают у щеки,
не москвичи, а англичане,
случайны, вежливы, глухи.

Их равнодушия кольцо
таит такую злую силу...
Немой усмешкой исказилось
Москвы скуластое лицо.
Одно лишь время неизменно.
Всё связано и всё разрывно,
и всё пройдёт в конце концов.
Но агасферы расплодились

и здесь.

Ну вот, теперь пишу тебе
по эту сторону свиданья.
Заметно ли на расстоянья,
что сдвинулось в моей судьбе?

И где мой Гефсиманский сад?
И путь далёк ли до Голгофы?
Не эти ли писались строфы
тысячелетия назад?

Я думать не хочу о том,
что суждено в конце разлуки
раскинуть надо мною руки
и никнуть на кресте челом

тебе..? Ты только лишь дитя,
и над тобой звезды сиянье.
И пусть хранит тебя признание,
что я люблю, люблю тебя.

ЛЕВ АННИНСКИЙ

ПРОСТЫВАЮЩИЙ СЛЕД АГАСФЕРА

— Ты откуда? — Никто не ответил.

— Ты куда? — Не ответил никто.

Из книги «Свет двуединый»

Русско-еврейский диалог завершается. Жаль. Грустно всякое расставание. Хотя это, казалось бы, должно, обрадовать обе стороны. Евреи, проведенные в «утробе Империи» двести лет, из которых двадцать последних — в активном отказе, уходят, наконец, за ее рубежи, на землю обетованную, изживая в душе очередное «пленение» и проклиная страну, то ли их приютившую, то ли принудившую, то ли спасшую, то ли зажавшую. И сама эта страна должна, кажется, вздохнуть с облегчением: беспокойное племя покидает ее пределы: бесы, совратившие простодушных русских людей в революцию и коммунизм, исчезают за горизонтом: торгаши и проныры, вызывавшие зависть и ненависть, проваливаются, наконец, восвояси. Слава богу, кончается эта история. Все: нет больше в России евреев.

Дело, естественно, не в этническом происхождении: мало ли людей «иной крови» влилось в русский народ, который весь и составил-то из перемешавшихся племен: финнов, славян, тюрок, те, что вливались, становились русскими, в том числе и те евреи, которые на это согласились.

Но в том-то и дело, что в основном — не согласились, не смогли, не сумели стать русскими. Что-то в душе помешало. Не потому, что родились евреями, а потому, что вели себя как евреи. И вот — отъехали.

Те, что остались, — во втором—третьем поколении и думать забудут о своих исторических корнях, и проверять эти корни вряд ли кто-нибудь станет. Так что придется русским людям на роль

совратителей и виновников искать кого-то другого. Неважно, кем по крови окажутся эти новые ответчики. Но это будут, наверное, уже не евреи.

А евреи в маленькой крепкой державе на Ближнем Востоке будут решать свои, ближние, восточные проблемы. Агасфер утомится. Вечный Жид, вместилище мирового духа, — станет нормальным обывателем в мировом сообществе, наподобие бельгийца или канадца. Есть же у России культурный обмен с Бельгией и Канадой! Будет и с Израилем.

А двести лет яростного и темного сожительства? А смысл этого полувменяемого диалога, втянувшего души в беспредельную тяжбу и вывернувшего мозги местечковым мудрецам и русским интеллигентам? Выходить из общины, не выходить из общины... Выйти — значит перестать быть евреями: не выйти — значит, отгородиться от русского общества, обречь себя на местечковое прозябание. И, с другой стороны, принимать евреев в русском обществе как «людей вообще»? Но это значит отказать им в национальной принадлежности. Принимать именно как евреев? Но это значит отказать им в русской принадлежности.

«Проклятый народец». Нитак, ниэдак не угодишь. И зачем Екатерина прикупила их у Европы при очередном разделе Польши? Так и не влились, не слились. Без земли, без языка, без «компактного проживания», когда, казалось бы, ничем не удержаться в качестве «инородцев», а надо бы раствориться без остатка и сопротивления, — так и не растворились. Выпали в осадок. Удержались непонятно чем. Чистым именем, пустым звуком, святым духом.

Загадка.

Разгадывается она — с отъездом. Святой дух возвращается на Святую Землю. Звук имени наполняется государственной медью. Величие страдания входит в нормальный масштаб.

Но ведь и Россия в момент расставания находится в кризисе своего величия. На месте империи, державшей за шиворот полмира, — ворох притирающихся друг к другу малых осколочных государств. С распадом Советского Союза Россия уже лишилась половины своей весомости, а теперь угроза распада и дробления висит уже и над нею

самой. Я имею в виду не великороссов, чья этническая суть никуда не денется, я имею в виду русское дело как часть мирового дела, русское величие, создававшееся усилиями также и украинцев, татар, прибалтов, молдаван, кавказцев и — евреев, *становившихся русскими*.

Неудача этого дела, крах коммунистической утопии, поставивший под вопрос русскую мировую роль, закат русской всечеловечности — все это ставит русских в положение, в чем-то сходное с положением евреев: вместо мировой роли надо сживаться с рядовой ролью, сжиматься до нормы, «мести свой кусочек улицы».

Не расставание страшно. А тревога, простершаяся над двумя ненормальными народами в момент разрыва. Тревога мысли: что же означало это двухвековое сосуществование? Зачем понадобилось оно в ходе судеб, если кончается таким прощаньем?

Эмоция, лежащая на поверхности: взаимная обида. Неразделенная любовь. Мы им давали, а они не взяли. Мы их любили, а они отвергли. Нет и не будет с ними счастья.

Несчастнейшие из сыновей покидают опостылевшую землю, а родина-мать, оборачиваясь мачехой, грозит им клюкой и злобно плюет вслед. А если и не грозит, если и не плюет, то все-таки примечает.

Что же это за страна, двоящаяся матерью-мачехой, за двести лет так и не разгаданная, так и не принявшая льнувших к ней несчастнейших сынов?

Я в этой статье буду опираться на стихи, потому что поэзия лучше публицистики выявляет общий тонус, общий образ оставляемой, остающейся в памяти евреев России. Поэзия на частности не отвлекается. Она не выясняет, кто же свой, а кто чужой, потому что тень такого вопроса действует сильнее любого ответа на него. Чужая земля, чужая вина.

Образ страны зыблется в памяти Агасфера. Россия непрочна. Россия бесплотна. Россия абсурдна. Россия бесследна.

Непрочность, зыбкость, непредсказуемость мерещатся за ее замками, запорами, задвижками и запретами. Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках — именно потому, что сплетается все из хрупкого, мягкого, неверного. Человек в этой

стране не может ничего предвидеть, а если предвидит, то — рвы и ямы Бабьего Яра: он живет под занесенным мечом: он видит невозмутимые снега над расширяющейся бездной, он чувствует бездну, провал, развал. Он бредет вдоль колючей проволоки, всматривается в капли, сияющие на железе, и думает, что в сущности ничего больше и нет: только эти капельки на железе, а за проволокой — тщета, безнадега, бездонность. Здесь человек чувствует, как исчезает грань между жизнью и смертью: он слышит, как мертвые шевелят костями и как живые входят в бездонные летейские воды и дважды, и трижды, и многожды... Из небытия возникает человек и в небытие исчезает:

«Я был остывшею золой без мысли, облика и речи, но вышел я на путь земной из чрева матери — из печи».

Жизнь — бесплотна, ирреальна, воздушна. Гнездо свито в кратере: в любой момент можно сгореть. Тема снега, свинцовой холодной обреченности сменяется темой огня, обреченности пламенной, плазменной, воздушной, воспаряющей к небу. «Нежная славянская плацента» горит многоязыким пламенем: этим пламенем горят и пылкие еврейские души: бессмертный товарищ Чапаев летит вместе с евреями в атаку на забаннный Богом Бейрут, и эта фантазия прекрасна при всей своей чисто русской придури: в реальности же задавленный, огни и воды прошедший, готовый все потерять русский поэт «еврейского происхождения» скачет в каком-то ином измерении, вернее, в том же ирреальном измерении, но чаще — в другой тональности:

«Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам... Мне выпало все. И при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом. Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете. Добро на Руси ничего не имети».

Русь — это абсурд и непредсказуемость. Это обваливающиеся мосты, заваленные тропы, брошенные деревни. Это веселые сны посреди грустных просторов. Это богоданное безбожие, вечные качели между блаженством и скотством, это демократия пьяни, братание с первым встречным. Это привычка к неожиданному, необъяснимому, выходящему из рамок и правил. Это смесь всего и вся: Европы и Азии, культуры и дикости, мощи и бессилия.

«Все перепуталось тупо: пушки Путилова, Круппа, танки завода Рено, жидкие порции супа, радио, Сталин, кино».

Абсурд живучести. Бесконечность скрещений и безначальность качеств, одинаковость шинелей, гимнастеров, погон, дождей, песен. Серый цвет — цвет времени и высушенных временем бревен, цвет смешения: черное — белое, живое — мертвое, остывшее — горячее. Все пегое, пестрое, стекающее в общую бездну. Только России можно вжиться в такой живительный абсурд:

«То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем — все равно не сгоршишь от стыда: как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза...»

Россия — это царство бесследности. И именно здесь, где время стирает все: следы материальных усилий, зарубки памяти, ощущения отдельного индивида, — именно здесь принимаются самые отчаянные попытки удержать лицо: противостоят всесильной «фузе».

Зов прародины — вот одна из последних спасительных опор. Желтые звезды загораются, прожигая серые лохмотья. Зов предков, зов крови. Зов царской крови, как иной раз именем Книги Царств ограждает себя еврейская душа среди всеобщего ровного изгойства. Жезл патриарший, пылающий куст и чернеющий крест прорезаются в тумане. Горючие проклятья прадедов помогают откликаться и в безмолвии пустоты, и среди ревущих толп. Еврею мнится, что сказать «все — как в древности» — значит остановить хаос, это безначалье-бесконечье, эту бесследную невменяемость бытия.

«Все, как в древности: дикое пенье, ожидания тягучий застой: и над всем, словно чудо прозренья, примиренье с любой судьбой».

Не буду прослеживать по стихам отъехавших поэтов, как на Святой земле это жгучее стремление бежать из России оборачивается тоской по оставленной матери-мачехе. У меня и помимо стихов было достаточно случаев убедиться в ностальгии, охватывающей бывших русских евреев в Израиле (там они неистребимо именуется «русскими», как здесь не могли перестать быть «евреями»). Не испытывая по этому поводу никакого пристрастного

чувства, то есть ни торжества, ни злорадства, — я зимой 1993 года в ходе одной телепередачи коснулся этой темы в диалоге с Вл. Ем. Максимовым. Критик Мих. Золотонос в газете «Московские новости» оценил нашу попытку «рассуждать о евреях и “русофилии” в Израиле» как комическую, — заметив, что «лучше бы об этом размышляли Мартин Бубер и Ханна Арендт». Что именно показалось М.Золотоносову комическим, я не понял, но уловил, что мои рассуждения на эту тему его неприятно задевают. Ладно, не буду. Пусть, в самом деле, об этом высказываются М.Золотонос и другие соплеменники Мартина Бубера и Ханны Арендт. Это, видимо, и будет продолжение диалога, вернее, это будет *конец* русско-еврейского диалога, грезящийся мне в наших разводно-отъездных делах. Но «русскую половину», надеюсь, М.Золотонос позволит мне додумать?

Так вот, я думаю, тут важно то, что еврейская тоска по прародине есть своеобразный выворот русской судьбы, постигшей евреев в последние два века их двухтысячелетнего скитания. Народ, готовый поступиться всеми «естественными условиями бытия» ради самого факта бытия (я употребляю термины Ницше из «Антихристианина», но можно описать это иначе) — народ, согласившийся потерять, казалось бы, все: землю, государство, язык, веру, мораль (две последние ценности евреи бросили в «мировой пожар» революционности) — за что народ все это отдал? За факт бытия. За звук имени. За один этот звук, за чистый факт, за след в бесследности. И из этого звука, факта, следа — и язык возродили, и веру, и мораль. И на землю вернулись, и государство теперь воссоздали и отстояли.

Но это теперь. И теперь — это великий искус для евреев: отдать мировое страдание за крепкий уютный угол. И это — конец того диалога, который мы стремимся разгадать, того, в котором еврейские и русские души мучились, узнавая и не узнавая друг друга. Теперь — все ясно, и узнавать нечего: вот рубеж, вот виза, вот дипотношения. Вот Россия, а вот Израиль. Шолом! Здравьте и до свидания.

Но пережитая нераздельность—неслиянность! В этом сыновно-сиротском сцеплении любви и горечи, причастности и изгойства остается неразгаданной какая-то тайна, какая-то зеркальная

зачарованность. Русские в глазах евреев — это люди, готовые все отдать, все потерять, всем пожертвовать ради «чего-то», что и определить-то невозможно, разве что определить все так же: как «факт бытия», только. И примирение с судьбой, и готовность «объять весь мир», и вечная неприкаянность — это же черты русских (в глазах евреев, но не только в глазах евреев!), но это и черты евреев в глазах русских (и не только русских). А еврейская незакрепленность, безземелье, расплывающееся в «гражданство мира», вечное кочевье по чужим странам и культурам («формой существования еврейства является паразитирование на язвах чужих культур» — повторил за Фридрихом Ницше Борис Парамонов, а от себя добавил со знанием дела: русские — это ж евреи в своем отечестве! — Добавил бы еще что-нибудь о хищническом разграблении природных богатств, принадлежащих ста народам «одной шестой части суши», да о властном присвоении богатств культуры ста народов, то бишь «русификации»)...

Вот на этой-то зыбкой почве и выпало встретиться двум мировым народам: русскому и еврейскому. Ответы на вопросы они дали разные, даже диаметральные. Но вопросы-то были — общие. А это и есть диалог.

«Понимаю: ярмо, голодуха, тыщу лет демократии нет, но худого российского духа не терплю, — говорил мне поэт. — Эти дождички, эти березы, эти охи по части могил, — и поэт с выраженьем угрозы свои тонкие зубы кривил... — Эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки и под утро заместо примочки водянистые Блока стихики: наших бардов картонные копья и актерскую их хрипоту, наших ямбов пустых плоскостопье и хорев худых хромому... Вот уж правда: страна негодяев: и клозета приличного нет», — сумасшедший, почти как Чаадаев, так внезапно закончил поэт.

Но гибчайшего русскою речью что-то главное он огибал и глядел словно прямо в за-речь-е, где архангел с трубой погибал.

Потрясающий поворот! Все — тошнотворно: от водочки до нужды сбегать на двор. Все воплотившееся — невыносимо. Но *огибается* речью что-то, что *за речью*: невоплощаемое, невыразимое, неисследимое, и приковывает душу.

Заметим этот потусторонний магнит русской жизни. Заметим и силовые линии к нему: ямбы и хорей. То не важно, что строчки пустые или хромые, а важно, что они все искупают. И без них невозможно. И от их магии не оторваться.

Магия слов. Два народа, помешавшиеся на Слове. Два народа, словно разделенные зеркалом: что-то единое есть (может быть, предназначение неразрешимое), но повернуто зеркально. Перевернуто. Русский мир в глазах евреев абсурден, безумен, «на дурака рассчитан», на голову поставлен. Но он свят. Он только перевернут.

Вот это действительно лейтмотив, причем глубинный — русско-еврейского поэтического самовыражения.

Смешение черт и качеств, в неразличимой «фузе» русской жизни, в этом «котле добра и зла» обнаруживается нечто вроде логики, вернее, некая антилогика, логика от противоположного. Чем хуже, тем лучше, и наоборот: чем лучше, тем хуже. Можно отнести первую часть перевертыша к русской реальности, а вторую — к еврейской доле в этой реальности, но суть в том, что это — разные аспекты *одной* реальности, вернее, одной ирреальности, имеющей свойство оборачиваться в свою противоположность. Чужое зовется своим, свое отвергается как чужое. Еврейский ум на русской почве обретает подобие души. Что-то зеркальное является в несходящемся подобии душ и судеб: правое становится левым, левое правым, как чужое своим, а свое чужим. Не поймешь, где роль, а где судьба, где маска, а где лицо. Думаешь: это грим, а сдираешь его — вместе с кожей. Отъезд (алия) в этом контексте — не решение, а лишь переворачивание проблемы, перенос ее с места на место: попадаешь на другой крючок, или в другую сеть, и нет разницы, крюк ты перепугал или море. Хрестоматийный еврейский релятивизм (изворотливость) накладывается здесь на хрестоматийную русскую непредсказуемость (дурь). Возникает ощущение жизни вывернутой, выворотной, вечно выворачивающейся. Победителей — судят. Поражение оборачивается победой, победа — поражением. Сила — слабостью...

«Забвенья нету сладкого, лишь горькое в груди — защиты жди от слабого, от сильного не жди...»

Сила — у слабых, сила — в слабости. В еврейской жизни выявляется скрытая русская слабость, скрытая, глубоко запрятанная надломленность русской жизни. Давид и Голиаф меняются ролями. Морок подобия. Жизнь — полусон, сон — видение, воспоминание о прошлом, мираж будущего. Сон — это двухсотлетняя жизнь в России, мираж — возвращение на историческую родину.

«Запоздало свиданье, на тысячи лет запоздало! Застрела неувстречая в неподвижных веках, застыла в чужбинах холодных, в чужих языках, в ненадежных домах, с бесприютным уютом вокзала... Я не знаю: зачем и какую стихийною силой перепутаны в жизни моей времена и миры. И внезапный озноб этой лютной восточной жары непонятно похож на заснеженный воздух России!»

Кольцуются судьбы, кочевье замыкается на самое себя, Агасфер грядится в зеркало, дурная бесконечность висит над вечным скитальцем, над самоотверженным искателем Смысла.

В грандиозной Бессмыслице единственное, чему можно верить душу, — это то самое: Слово. «Народ Книги» обнаруживает странное родство с народом, которому Словесность на два века заменила и философию, и религию, и здравый смысл. Словесный мостик качается над бездной. Среди проклятий, которые еврейская душа обрушивает на голову окаянной российской государственности, одно из самых яростных вызвано тем, что *империя потеряла язык*. Среди отравляющих память воспоминаний об окаянной жизни неизменно спасительной остается светлая строчка, строчка *стиха*: русский ямб, русский хорей, хромой, калеченный, но — спасительный. Ариаднина ниточка рифмы, нота гармонии в хаосе антижизни, распев русской речи.

«Все серо, зелено, сквозисто, и будто бы из далека звенит прерывисто и чисто еще не слышная строка»

Удержит ли эта ниточка расходящиеся берега? Нет. Лишь подчеркнет бездну. Лишь обернет еще раз жизнь, изошедшую на чернила. Лишь очертит то неизъяснимое, что «огибается», охватывается русской речью и ею прикрывается. Можно жизнь прожить в перевернутом мире, «не там» и «не тогда», по чужим углам и под чужими именами. Можно эту судьбу проклясть, перевернуть.

Но нельзя не почувствовать, что, помимо *этой* жизни, есть еще «что-то», бесконечно важнейшее, неисчерпаемое, неохватное, неопределимое и непреодолимое, превышающее любую силу и обесценивающее любую ясность.

Это ощущение соединяет евреев и русских.

Это ощущение — смысл и итог их двухвекового диалога.

Это ощущение — его финал.

Россия, зависшая над темной бездной распада, из которой она чает выбраться на какой-нибудь ясный берег, горьким взглядом провожает своих пасынков, из «ничего» восстановивших себе родину, а евреи, оглядываясь на оставляемую Россию, оставляют ей неизреченную «мировую тайну», которую они отдали за маленький крепкий дом.

Кто прав?

Неразрешимо.

Ибо спрошено: *«Где путь к жилищу света, и где место тьмы?»*

И отвечено: *«Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои».*

Источники: Иов, 38:19; 39:34.

Авторы стихов (по ходу цитирования): Семен Липкин, Давид Самойлов, Михаил Синельников, Иосиф Бродский, Михаил Грозовский, Лев Лосев, Инна Лиснянская, Светлана Аксенова, Лия Владимирова.

Особая благодарность — М. Грозовскому: во-первых, за эпиграф и, во-вторых, за решимость собрать воедино стихи российских евреев (и неевреев), отъехавших и неотъехавших, и извлечь *свет двуединный* из этого Вавилона строк.

ВАДИМ КОЖИНОВ

РЕПЛИКА В РУССКО-ЕВРЕЙСКОМ ДИАЛОГЕ

Одним из инициаторов создания этой книги был Михаил Агурский, памяти которого она и посвящается*. В последние годы жизни этого человека мы часто встречались в Москве, куда он почти регулярно навещался, и вели долгие и содержательные беседы, что отнюдь не было случайным: я и не знал и не знаю (непосредственно, лично) другого столь же серьезного и горячего сторонника того уже давно длящегося исторического процесса, который уместно определить как *русско-еврейский диалог*. Достаточно, я думаю, напомнить, что еще в 1974 году Михаил Агурский стал участником известного сборника «Из-под глыб», где он по сути дела вступил в прямой диалог с виднейшими выразителями русского национального самосознания — Александром Солженицыным и Игорем Шафаревичем.

Необходимо, конечно, сказать обо всем этом более определенно и конкретно. Но вначале будет целесообразно обрисовать задачи и общий смысл самой этой книги. Ведь вполне вероятно сомнение в ее соответствии понятию о русско-еврейском диалоге, подразумевающему сложное и основательное обсуждение общеисторических, а также религиозных, философских, политических, нравственных и иных проблем. А тут — стихи, в которых многие видят только выражение чисто личных душевных состояний или даже вообще «словесно-ритмическую игру»...

Но не зря же сказал о стихе Державин, что «металлов тверже он»... И разве не из стихов созданы так легко прошедшие через тысячелетия «Илиада» или «Махабхарата»? Если глубоко задуматься

* Михаил (Мелик) Самуилович Агурский (1930-1991) — видный политический и литературный деятель Израиля.

о том, зачем вообще человек обращается к созданию стиха (вместо того, чтобы воспользоваться «естественной» формой речи), непреложно выяснится и такая цель: воплотить свое самосознание в прочной, способной уцелеть в дали времен словесной структуре. А поскольку это действительно так, в стихах (конечно, в той или иной мере) всегда запечатлено стремление воплотить подлинно существенный и весомый смысл... Я говорю о *стремлении*, которое далеко не всегда реализуется, но которое все же ощутимо в любом достойном своего имени *стихотворении*.

И, наконец, еще одно. Слово, речь как таковая по-настоящему жива и до конца понятна только в своем *контексте*, слово, как доказывал Бахтин, есть *ответ* на нечто произнесенное ранее и *вопрос*, ждущий последующего слова. Стихотворение же всегда стремится быть *завершенным в себе* миром, стремится высказать *все*. В научных комментариях к стихотворениям часто ставится задача выяснить, чем «вызвано» данное стихотворение и какой последующий отклик оно нашло. Однако для полноценного восприятия стихотворения эти сведения вовсе не обязательны; стихотворение, если воспользоваться архаичным глаголом, «довлеет себе» (к сожалению, в современной речи глагол этот часто грубо искажается: в него пытаются вложить некое среднее значение между «давит» и «тяготееет»).

И любое стихотворение, заслуживающее этого названия («творение» — то есть плод *творчества!*), являет собой — хотя бы в своем *устремлении*, в потенции — своего рода сгусток, кристалл самосознания (самосознания личного, национального, общечеловеческого). Поэтому есть серьезный и обоснованный смысл в издании книги стихотворений, которые так или иначе связаны с осознанием проблемы «евреи и Россия», в той или иной степени соприкасаются с ней — острой, противоречивой, многозначной... Едва ли можно усомниться в том, что книга эта немало даст любому читателю, стремящемуся осмыслить эту проблему.

И Михаил Агурский был целиком и полностью согласен с этим проектом книги. Он, как уже сказано, являл собой последовательного и даже — это определение совершенно уместно —

страстного сторонника открытого, честного, не боящегося никаких острых углов русско-еврейского диалога. Принципиальная честность его участия в этом диалоге выразилась наиболее ясно, пожалуй, в том, что он отнюдь не скрывал, не затушевывал свою безусловную и бескомпромиссную *национальную* приверженность. Он, например, не пытался убедить кого-либо в том, что его особенно заботят собственно *русские* интересы...

Это с очевидностью выразилось, например, во время пресловутого «путча» (уж воспользуюсь сим общепринятым чисто пропагандистским словечком) в августе 1991 года. Может быть, то, что я сообщу, выглядит странно, но я и узнал-то впервые о «путче» именно от Агурского. Утром 19 августа он позвонил мне из своего номера в гостинице «Россия» (где через несколько дней, утром 27 августа, его нашли мертвым...) и крайне взволнованно, даже потрясено заговорил о происходящем (я не имею привычки включать утром телевизор или радиоприемник, и еще ровно ничего не знал).

— Как можно было вводить войска?! — восклицал Агурский. — Неужели они не понимают, что армия давно разложена? Ясно, что государство с этого момента обречено на распад!

Говоря или, точнее, выкрикивая это, Агурский отнюдь не предполагал, что я увижу в его словах некую заботу об интересах моей страны. Он неоднократно развертывал передо мной свое убеждение, что распад СССР крайне невыгоден для *Израиля*, — хотя бы уже в силу того, что около пятидесяти миллионов мусульман СССР вполне могут тогда слиться с исламом Ближнего и Среднего Востока и, как полагал Агурский, резко увеличить враждебную геополитическую массу, склонную тяжело нависать над Израилем. И есть все основания считать, что сама смерть Михаила Агурского была результатом его предельной взволнованности, порожденной августовскими событиями, и он, следовательно, оказался реальной жертвой так называемого путча...

Но, конечно, глубокая приверженность Агурского к тому, что уместно называть русско-еврейским диалогом, зиждилась не только на таких геополитических соображениях (хотя он во многом жил

именно политологическими проблемами). Агурский ясно сознавал, что культура и сам, как говорится, менталитет современного еврейства – в том числе евреев Израиля – сложились в теснейшие взаимосвязи с русской культурой и самим русским бытием; нельзя ведь забывать, в частности, что почти все основоположники государства Израиль, так сказать, «вышли из России». Агурский, между прочим, с жесткой иронией воспринимал нынешние попытки утвердить представления об евреях Израиля как о совершенно «новой», полностью отделившейся от еврейской диаспоры нации (например, «ханаанской»), никак уже не связанной с вековым историческим наследством, которое с конца XVIII века создавалось главным образом во взаимодействии с реальностью Российской империи (где к концу XIX века находилось большинство евреев мира).

Агурский, разумеется, ни в коей мере не закрывал глаза на все «негативные» стороны жизни евреев в России, но вместе с тем он не признавал мифических заклинаний о некоем агрессивнейшем и тотальном антисемитизме, будто бы господствовавшем и продолжающем господствовать в русском народе и национально мыслящей интеллигенции.

Да, Агурский вовсе не «приукрашивал» судьбу евреев в России, но и ни в коей мере не разделял позиции тех – к сожалению, многочисленных – безответственных авторов, которые пытаются, скажем, «приравнять» новейшее развитие русской национальной мысли и германский нацизм, или, точнее, расизм, совершенно закономерно и неотвратимо приведший к так называемому «окончательному решению еврейского вопроса».

Впрочем, пора вернуться к содержанию этой книги.

Едва ли можно оспорить, что стихотворения, представленные в этой книге, так или иначе воплощают в себе не что иное, как еврейско-русский диалог. В стихах русских авторов это очевидно. Но и во всем написанном еврейскими авторами есть двойственный

смысл, ибо ведь перед нами еврейское самосознание, воплощенное в выработанном веками *русском* поэтическом слове, которое «используется» как нечто — это очевидно — в полном смысле *родственное* (а нередко и, без сомнения, подлинно *любовно*). И — как ни парадоксальна эта двойственность — даже *ненависть* к чуть ли не всему русскому (а такие стихи здесь есть) воплощается в составляющем неотъемлемую сторону самого существа авторов таких «ненавидящих» стихов *русском* поэтическом слове...

А ведь это *слово*, взятое *само по себе*, конечно же, не просто некая пустая «форма»; оно исполнено смыслом, и именно *русским* смыслом; таким образом, оказывается, в сущности, что даже в тех стихах, где, казалось бы, царит ненависть, присутствует и нечто совсем иное...

Кто-нибудь может возразить, что сами условия жизни, так сказать, деспотически заставляли подавляющее большинство российских евреев говорить и писать именно и только по-русски, хотя они, мол, никак этого не хотели. Не буду сейчас оспаривать такое мнение, но ясно, что никто и никак не заставлял ненавидящих Россию людей не просто говорить и писать, а *творить* в *русском* поэтическом слове, которое есть неотделимая составная часть русского сознания и даже самого русского бытия. При этом необходимо сознавать, что человек, творящий стихи на русском языке, выступает отнюдь не только как «русскоязычный»; поэтическое слово — это по своей истинной сути вовсе не феномен языка, но явление *национального искусства* («язык искусства» никак не сводим к языку в лингвистическом значении термина). И тот, кто занимается *стихотворчеством* на русском языке, неизбежно оказывается тем самым в лоне русской национальной культуры (можно бы показать, что *в прозе*, в отличие от поэзии, это приобщение к национальной культуре имеет значительно менее глубокий и всесторонний характер).

В стихах, вошедших в книгу, есть воплощения и неоспоримой любви к России и столь же несомненной ненависти, но сердцевинная «тема» — это, пожалуй, согласно Катуллову признанию, *Odi et amo**. Россия как любимая (несмотря ни на что!) мать и одновременно — ненавидимая мачеха.

* Ненавижу и люблю (*лат.*)

Это особенно часто выступает в стихах, написанных женщинами — с присущей им обостренной жадой защиты и заботы — жадой, вдруг сталкивающейся с «мачехиным» равнодушием или даже враждебностью. Однако никак нельзя не заметить, что ведь это и *собственно русская* поэтическая тема!

Так, наиболее значительная поэтесса второй половины XX века Светлана Кузнецова (1934 — 1988) в своем стихотворении «Мать-и-мачеха», открывающем ее великолепный поэтический цикл «Русский венок», говорит:

*Быль родимая сурова.
Через все века —
Мать-и-мачеха — основа
Русского венка...*

*Чтоб, иной любви не зная,
Век не понимать,
Кто нам родина родная —
Мачеха или мать?*

Сама эта тема России как «матери—мачехи» — не только предельно сложная, но и подлинно глубокая, могущая быть понятой только в основательнейшем историософском размышлении, и потому я не могу излагать ее здесь. Но важно было сказать о том, что нашедшее выражение в некоторых стихотворениях, представленных в этой книге, казалось бы, чисто «еврейское» восприятие России как «матери-мачехи» на самом-то деле вписывается в заведомо «русское» сознание...

Правда, далеко не все, мягко выражаясь, «критические» мотивы в стихотворениях этой книги представляются мне имеющими объективное обоснование. Подчас «критика» продиктована теми или иными поверхностными политическими либо даже попросту политиканскими обстоятельствами и причинами. Так, например, едва ли сколько-нибудь «серьезен» мотив якобы целенаправленно готовящихся какими-то мощными силами нынешней России

еврейских погромов и чуть ли не геноцида, — а этот мотив присутствует или даже господствует в некоторых стихотворениях.*

Но вполне целесообразно включение в книгу и *таких* стихотворений, ибо цель ее — в представлении всех возможных «реплик» в русско-еврейском диалоге (хотя, разумеется, исчерпать все немислимо).

Впрочем, нельзя не упомянуть, что иные «негативные» моменты в стихах обусловлены в сущности элементарной неосведомленностью. Так, например, Нина Воронель не без горечи сетует:

*Я в прошлом себя узнаю среди прочих,
И я в этом прошлом не слово, а прочерк:
У предков моих слишком яростный глаз,
А нос слишком длинный и в профиль, и в фас...
И предков моих на Сенатскую площадь
Никто б не пустил под штандарт голубой...*

Между тем в действительности среди декабристов свою немалую роль играл еврей, который даже руководил самостоятельной ячейкой тайной декабристской организации — обществом «Херут» (ивр. «Свобода»); в 1926 году вышла в свет специальная монография о нем: «Декабрист Григорий Абрамович Перетц. Биографический очерк и документы». Стоит отметить еще, что его младший брат Егор Абрамович Перетц избрал совсем иной путь и в 1878 году достиг одного из высших в стране постов — *государственного секретаря* Российской империи. То есть ни «глаз», ни «нос» не помешали этим братьям осуществить в российском «прошлом» свои устремления; они не оказались «прочерками». И Нина Воронель в данном случае — жертва пропагандистской лжи о дореволюционной России, ибо, что стоит подчеркнуть, судьбы братьев Перетцев отнюдь не были некими исключениями в XIX веке (о XX веке и говорить не приходится...).

* Нельзя не добавить, что даже и погромы в дореволюционной России имели совершенно иной характер, чем обычно утверждается (так, например, в них погибло больше людей других национальностей, нежели евреев); см. мою статью «Правда о погромах» в журнале «Наш современник» (1994, 4).

В связи с этим следует сказать и о достаточно давней приверженности евреев к русскому поэтическому слову. Уже в XIX веке российские евреи играли весьма заметную роль в поэзии; среди них — В. Богораз-Тан, П. Вейнберг, К. Льдов (Розенблюм), Н. Минский (Виленкин), С. Надсон, Д. Ратгауз, С. Фруг, Д. Цензор. А в XX веке Б. Пастернак и О. Мандельштам, Э. Багрицкий и Б. Слуцкий предстают на самой авансцене поэтической культуры России.

Правда, может возникнуть вопрос о том, в какой мере в стихах этих и других поэтов нашего столетия присутствует собственно еврейское начало. Но нет сомнения, что в поэзии (именно в поэзии; проза — другое дело) автор неизбежно воплощается во всей своей многогранной *цельности*, — в том числе и в своем национальном и этническом существе — даже если оно оттеснено и приглушено в его сознании и бытии.

Можно с большим основанием утверждать, что русско-православный менталитет почти полностью вытеснил еврейскую стихию в творчестве Пастернака (он, как известно, был сторонником безоговорочной «ассимиляции» евреев); однако это скорее исключение, чем правило.

Правда, во многих известных стихотворцах послереволюционного времени «еврейское» было заслонено не русским, а чисто «советским» — то есть в частности, «интернационалистским» менталитетом* (М. Алигер, Дж. Алтаузен, П. Антокольский, А. Безыменский,

* К сорокалетию Октябрьской революции была издана двухтомная «Антология русской советской поэзии» (М., 1957); 53 из 214 представленных в ней авторов — евреи (то есть каждый четвертый); к этой статистике стоит добавить еще, что из 26 стихотворцев, получивших в 1940 — начале 1950-х гг. Сталинские премии, было 8 евреев (т.е. почти каждый третий), причем 4 из них удостоились этих премий в 1949 — 1952 годах, когда, как считается, евреи подвергались полнейшему остракизму. Я напоминаю об этом не для того, чтобы кого-то «уязвить», но для выявления, пользуясь модным словом, «неоднозначности» реального положения дел, которое часто пытаются представить в качестве «однозначного».

М.Голодный, Е.Долматовский, В.Инбер, С.Кирсанов, П.Коган, С.Маршак, М.Светлов, И.Сельвинский, И.Уткин, А.Ясный и многие другие. Но в той или иной исторической ситуации – особенно в годы нацистского геноцида – национальное начало с очевидностью пробуждалось и даже выходило подчас на первый план.

Вообще по мере хода времени соотношение «сторон» и самый характер русско-еврейского диалога, который воплощался в поэзии, весьма существенно изменялись. Но эта книга обращена только к той поэзии, каковая более или менее верно определяется словами «современная», – поэзия последних четырех десятилетий (хотя некоторые – очень немногие – стихотворения, вошедшие в книгу, написаны еще в начале 1950-х гг.).

Наконец, следует сказать и о том, что в книге собраны стихотворения весьма различного художественного уровня; одни из них можно по праву причислить к полноценным образцам поэтического слова, в других нетрудно увидеть те или иные недостатки и слабости. Но определенная «планка» (как любят выражаться современные поэты) все же постоянно имелась в виду при составлении этой книги. По тем или иным своим качествам все входящие в нее стихотворения всецело заслуживают внимания серьезных читателей.

И уж, конечно, тема «Евреи и Россия в современной поэзии» предстает здесь полновесно, многогранно и в своих нередко острейших противоречиях и изломах.

В книгу вошло немало стихотворений, которые могут стать предметом серьезных раздумий. В моей «реплике» для этого, понятно, нет места. И я ограничусь отзывом о стихотворении одного из наиболее интересных авторов книги – Льва Лосева. В семи строфах как бы собраны в один клубок чуть ли не все «проклятья» по адресу России, которые рассеяны во многих других стихотворениях книги.

*«Понимаю – ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», – говорил мне поэт.*

*И еще он сказал, раскаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей».*

Герой стихотворения даже присоединяется к есенинскому герою Чекистову-Лейбману:

*«Вот уж правда – страна негодяев:
и клозета приличного нет»...*

Однако в заключение Лев Лосев обращается к тому чрезвычайно существенному «феномену», о котором говорилось выше: проклятья-то ведь звучат в *русском* стихе... И последняя строфа ставит под сомнение все предшествующее:

*Но гибчайшею русской речью
что-то главное он огибал...*

Это «главное» определить трудно или даже невозможно. Сам Тютчев сказал о нем как о несказанном:

В Россию можно только верить.

(у Тютчева «верить» выделено курсивом, но цитирующие строку чаще всего не замечают этого).

И во многих стихотворениях в книге это самое «главное» так или иначе присутствует – хотя при прямолинейном, плоском их восприятии, возможно, упускается. Надеюсь, что книгу будут читать пристально.

И еще о сугубо «личном». Долгие годы я был более или менее тесно связан с рядом представленных в книге поэтов и подчас даже играл определенную — пусть и небольшую — роль в их литературной судьбе (Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Александр Межиров, Моисей Цетлин, Лев Вайншенкер и многие другие), а главное — так или иначе вел *диалог* с ними (и потому мое участие в этой книге закономерно).

Правда, диалог на проверку оказывался иногда не вполне адекватным. Так, например, я достаточно высоко ценил и цену поэзии Давида Самойлова (хоть и не так, как творчество Бориса Слуцкого и Александра Межирова). Я писал о его стихах еще в самом начале 1960-х годов, когда поэт не имел сколько-нибудь широкого признания, а в 1988 году причислил его к «первому десятку» современных поэтов (см. мою статью «Истинное и мнимое. Поэзия сегодня» в изданном тогда «Сов. писателем» сборнике «Взгляд»). Не скрою, мне казалось, что и Давид — или, как я его, подобно многим окружавшим его людям называл *Дэзик* — относится ко мне доброжелательно, не взирая на все возможные разногласия.

Но вот какой выяснился прискорбный казус: Дэзик в свое время преподнес мне свою лучшую, на мой взгляд, книгу «Дни» с порадовавшей меня надписью: «Вадиму — человеку страстей, что для меня важней, чем человек идей, — с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались — друг друга не предадим. 1.03.71 Д.Самойлов». Но прошли годы, и мне показали публикацию «поденных записей» Дэзика, где именно 1.03.71 начертано: «Странный, темный человек Кожин». («Знамя», 1995, №2, с.150). И еще одна — не датированная — запись: «фашист — это националист, презирающий культуру... Кожин, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, — фашист» (Д.Самойлов. Памятные записи. — М., 1995, с.431).

Дэзик был, без сомнения, весьма умным человеком, и у меня есть все основания полагать, что он не читал моих суждений об ОПОЯЗе, а повторил мнение о них, высказанное каким-то не блестящим умом собеседником. Ведь *весь смысл* двух моих статей об ОПОЯЗе (они

вошли в мою изданную в 1991 году книгу «Размышления о русской литературе», с.278-311) именно в том и состоял, что в этой сложившейся в атмосфере революции литературоведческой школе, тесно связанной с ЛЕФом, выразилось по сути дела пренебрежение к подлинной *культуре*. И я противопоставил ОПОЯЗу творчество М.М. Бахтина, которое ныне во всем мире признано высшим воплощением культуры в XX веке. М.М. Бахтин оценивал ОПОЯЗ так же, как и я. И уж если на то пошло «фашиствующие» тенденции были действительно присущи столь близкому к ОПОЯЗу ЛЕФу, который прямо призывал к «организованному упрощению культуры», о чем я и писал тогда.

Словом, сказав в своей надписи на книге о «взаимном понимании» между нами, Давид Самойлов, на мой взгляд, не проявил должной воли к этому. Но я питаю надежду, что общий диалог все-таки будет продолжаться и когда-нибудь принесет свои плоды...

В заключение считаю уместным отметить, что сам я — разумеется, без каких-либо специальных «усилий» с моей стороны — непосредственно вошел в эту книгу вместе с поэмой Александра Межирова «Поземка», где он вспоминает, как

*любил Вадима
Воспаленный говорок,*

и его же стихотворением «Благодаренье», где также звучит

Говорок воспаленный Вадима... —

и инверсия изменяет, обновляет повторенный смысл.

Не так давно, в 1991 году, вышел сборник «Лучшие стихи года», который предполагалось издавать ежегодно. В нем я представил читателям ряд стихотворений и выразил сожаление, что в моем распоряжении нет достойных новых стихотворений двух поэтов — Николая Тряпкина и Александра Межирова, которые можно было бы внести в этот сборник. Здесь же я в очередной раз высоко оценил поэзию Межирова, отметив, в частности, что его творчество

представляет собой «неотъемлемое звено в истории отечественной поэзии» (см.: Лучшие стихи года по мнению литературных критиков. — М., «Мол. гвардия», 1991, с.71).

Ныне, в 1996-м, я смог бы ввести в подобную антологию ряд стихотворений, написанных Межировым за последнее время в США.

И я не сомневаюсь, что диалог будет продолжаться, несмотря на все вероятные недоумения и разногласия (собственно говоря, диалог-то и возможен только при наличии разных голосов...)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аким Яков 65
Аксельрод Елена 247
Аксенова Светлана 342
Алон Александр 376
Аннинский Лев 477

Бараш Александр 385
Басовский Наум 281
Баумволь Рахиль 235
Баух Ефрем 262
Беззубов Геннадий 336
Бирюков Сергей 218
Блажеевский Евгений 196
Блаженных Вениамин 58
Богорад Юрий 111
Богуславский Семен 80
Британишский Владимир 124
Бродский Иосиф 460
Браун Ада 269
Бяльский Игорь 368

Вайман Наум 348
Вайншенкер Лев 33
Варшавский Григорий 314
Венгер Хаим 288
Вензель Евгений 199
Верник Александр 350
Витковский Евгений 10
Владимирова Лия 290
Воронель Нина 255
Вудка Арье 286

Галич Александр 395
Генделев Михаил 370
Гецевич Герман 229
Глезер Александр 139

Голков Виктор 391
Гробман Михаил 304
Грозовский Михаил 7, 200
Губерман Игорь 271

Долина Вероника 222
Друскин Лев 399

Евтушенко Евгений 131

Жигулин Анатолий 115

Заславский Риталий 104
Злотников Натан 141
Зугман Яков 117

Игнатова Елена 361
Иоффе Леонид 319

Камянов Борис 325
Каминский Евгений 224
Карабчиевский Юрий 166
Кобенков Анатолий 211
Кожин Вадим 487
Козловский Яков 57
Колкер Юрий 340
Корин Григорий 82
Коржавин Наум 426
Королева Нина 134
Краско Валерий 179
Кудрявицкий Анатолий 220
Кушнер Александр 155

Лазарис Григорий 354
Левинзон Владимир 135
Левинзон Рина 364

Липкин Семен 27
Лируж Илья 276
Лиснянская Инна 92
Лосев Лев 446
Люксембург Григорий 360

Малкин Дмитрий 300
Мальцева Надежда 187
Маркиш Давид 303
Межиров Александр 5, 405
Моран Рувим 23
Мороз Самуил 49
Мощенко Владимир 119

Нейман Юлия 20

Палванова Зинаида 320
Палайя Зинаида 176
Погреб Сарра 239
Попов Вадим 79
Попов Владимир 173
Пресман Аркадий 209

Ревич Александр 56
Рейн Евгений 144
Рихтерман Марк 183
Розовский Исаак 373
Рубин Илья 308

Самойлов Давид 51
Сагаловский Наум 439
Сатуновский Ян 35
Синельников Михаил 191
Слуцкий Борис 37
Сопровский Александр
219

Усачев Андрей 382
Уфлянд Владимир 165

Френкель Владимир 323

Цетлин Моисей 15

Чичибабин Борис 68

Шапиро Борис 473
Шендерович Виктор 226
Шерешевский Лазарь 90
Шраер-Петров Давид 442
Штейн Борис 174
Штейнберг Аркадий 13

Юпп Михаил 455

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| <i>От составителя</i> | 6 |
| <i>Вот такая странная эпоха</i> | 8 |

РОССИЯ

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

| | |
|---|----|
| <i>«Не кровь отцов: не желчь безвестных дедов...»</i> | 13 |
|---|----|

МОИСЕЙ ЦЕТЛИН

| | |
|------------------------------------|----|
| <i>Глушь</i> | 15 |
| <i>Ненастье. Суздаль</i> | 16 |
| <i>Диалог о чугушке</i> | 17 |
| <i>Если бы я был</i> | 18 |
| <i>Резиньяция</i> | 18 |

ЮЛИЯ НЕЙМАН

| | |
|--|----|
| <i>Россия</i> | 20 |
| <i>«Разве что вполсилы...»</i> | 20 |
| <i>Старик</i> | 21 |
| <i>Умирает эпоха</i> | 22 |

РУВИМ МОРАН

| | |
|---|----|
| <i>Распятие</i> | 23 |
| <i>«Не прошу для себя ничего...»</i> | 24 |
| <i>Сказка русского леса</i> | 24 |
| <i>«Никто не забыт, ничто не забыто...»</i> | 26 |

СЕМЕН ЛИПКИН

| | |
|--|----|
| <i>Союз</i> | 27 |
| <i>Зола</i> | 28 |
| <i>Нищие в двадцать втором</i> | 28 |
| <i>Памятники старины</i> | 29 |
| <i>Кочевой огонь</i> | 30 |
| <i>Современность</i> | 31 |
| <i>Два восьмистишия</i> | 32 |

ЛЕВ ВАЙНШЕНКЕР

| | |
|---------------------------|----|
| <i>Плохая рифма</i> | 33 |
| <i>Прощанье</i> | 34 |

ЯН САТУНОВСКИЙ

| | |
|--|----|
| <i>«Сашка Попов, перед самой войной окончивший...»</i> | 35 |
| <i>«Ни на русого...»</i> | 35 |
| <i>«Кончается наша нация...»</i> | 36 |

БОРИС СЛУЦКИЙ

| | |
|---|----|
| <i>Отечество и отчество</i> | 37 |
| <i>Ваша нация</i> | 37 |
| <i>«Еврейским хилым детям...»</i> | 38 |
| <i>«Созреваю или старею...»</i> | 39 |
| <i>Как убивали мою бабу</i> | 39 |
| <i>«А нам, евреям, повезло...»</i> | 40 |
| <i>Национальная особенность</i> | 41 |
| <i>«Православие не в процветанье...»</i> | 42 |
| <i>«Люблю антисемитов, задарма...»</i> | 43 |
| <i>«Примазываются к России...»</i> | 43 |
| <i>Про евреев</i> | 44 |
| <i>«А я – привык. Все те, кто не привыкли...»</i> | 44 |
| <i>«Солнце ушло на запад...»</i> | 45 |
| <i>Национальные жалобы</i> | 46 |
| <i>Полукровка</i> | 47 |
| <i>Родной язык</i> | 48 |

САМУИЛ МОРОЗ

| | |
|---|----|
| <i>«...Лихой беды не миновать нам...»</i> | 49 |
| <i>Старички</i> | 49 |
| <i>Рабинович</i> | 50 |

ДАВИД САМОЙЛОВ

| | |
|--|----|
| <i>«Мне выпало счастье быть русским поэтом...»</i> | 51 |
| <i>«Мне снился сон. И в этом трудном сне...»</i> | 51 |
| <i>«...И тогда узнаешь вдруг...»</i> | 52 |

| | |
|--|----|
| «Выйти из дому при ветре...» | 52 |
| «Что полуправда? – Ложь!..» | 53 |
| Баллада о конце света | 54 |
| АЛЕКСАНДР РЕВИЧ | |
| Песенка | 56 |
| ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ | |
| «В песчаный берег врылась рота...» | 57 |
| ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ | |
| «Мать, потеснись в гробу немного...» | 58 |
| «Как говорил отец...» – А он немел от страха...» | 58 |
| «Когда простор окидываешь взором...» | 59 |
| «Вы когда-то забыли, что рядом живу я на свете...» | 60 |
| «Сколько лет нам Господь?..» | 61 |
| Стихи ухода | 62 |
| «Почему полюбил я просторы?..» | 64 |
| ЯКОВ АКИМ | |
| Родина | 65 |
| «Что мы с тобою жили...» | 66 |
| «Стога и луна...» | 67 |
| БОРИС ЧИЧИБАБИН | |
| Еврейскому народу | 68 |
| Из сонетов любимой | 69 |
| «Не горюй, не радуйся...» | 69 |
| «Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях – труха...» | 71 |
| «Дай вам Бог с корней до крон...» | 72 |
| «Не веря кровному завету...» | 73 |
| «Опять я в нехристях, опять...» | 75 |
| «Из глаз – ни слезинки, из горла – ни звука...» | 76 |
| «Тебе, моя Русь, не богу, не зверю...» | 77 |
| ВАДИМ ПОПОВ | |
| Лагерный университет | 79 |

СЕМЕН БОГУСЛАВСКИЙ

«Мой русский внук, ты пишешь на иврите...» 80

ГРИГОРИЙ КОРИН

«Я – куст дикорастущий...» 82

«Что с тобой, Россия случилось?...» 82

«В честолюбивом мире...» 83

Иудеи Израиля 84

Стихи исхода 84

ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ

Участь 90

«После долгих невзгод, что покруче охот...» 91

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

«Пронзены половецкими стрелами русские сны...» 92

«Ветер дует и свет задувает...» 93

«Слыть отщепенкой в любимой стране...» 93

В минуту слабости 94

«Два брачных бражника, чьи крылья – нервный шелк...» 94

«Забвенья нету сладкого...» 95

«Какая зима падучая!» 95

«Мой отец – военный врач...» 96

Заложница 97

«И все это было...» 98

«Вам, друзья мои, вам, дорогие...» 99

«Уже не думаю о Праве...» 99

«Для своего народа – инородка...» 100

«Я в зеркало гляну, бывало...» 100

«В мире людном – в дому одиноком...» 101

«Влажный слог, намагниченный лад...» 102

Случай 102

«Молчит дверной звонок и телефонный...» 103

РИТАЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ

России 104

«Я помню: мой дедушка плавал...» 104

| | |
|---|-----|
| «Нет, не принадлежу...» | 105 |
| «Высадились целыми десантами...» | 106 |
| «Пристанционные акации...» | 106 |
| «Над землей меркнет солнце...» | 107 |
| Марш «Прощание славянки» | 107 |
| Январь 1953 | 108 |
| «Лечу над морем Средиземным...» | 109 |
| «Подарил России Бог...» | 110 |
| ЮРИЙ БОГОРАД | |
| Михоэлс | 111 |
| АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН | |
| Из далекого прошлого | 115 |
| ЯКОВ ЗУГМАН | |
| «На этой земле не воюют с быком...» | 117 |
| Русскому | 118 |
| ВЛАДИМИР МОЩЕНКО | |
| «Что ни делай, что ни говори я...» | 119 |
| Каменный карьер | 119 |
| По пути в соцгородок | 121 |
| «Вот квинтет играет Баха в синагоге...» | 122 |
| ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ | |
| «Багульник, ельник, изволоки, взгорья...» | 124 |
| Немка | 125 |
| «Ах, Яша Гиндин, Яша Гиндин!..» | 126 |
| «Чуть задернованная супесь...» | 127 |
| Смешанный брак | 128 |
| Дядя и тетка | 129 |
| ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО | |
| Последний прыжок | 131 |
| Израильская Россия | 132 |

| | |
|--|-----|
| НИНА КОРОЛЕВА | |
| «— Уезжаешь, родной? Отчего, от кого?..» | 134 |
| ВЛАДИМИР ЛЕВИНЗОН | |
| «Эта рана не закрылась...» | 135 |
| Облава | 136 |
| АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР | |
| Из цикла «Хава Нагила» | 139 |
| Пасхальное | 140 |
| НАТАН ЗЛОТНИКОВ | |
| «Повисни надо мной, повисни...» | 141 |
| Исход | 142 |
| ЕВГЕНИЙ РЕЙН | |
| Няня Таня | 144 |
| Памяти Витебского канала в Ленинграде | 147 |
| «Мутно марево. Дали нечетки...» | 149 |
| Монастырь | 150 |
| Преображенское кладбище в Ленинграде | 151 |
| В последний раз | 153 |
| Второе октября | 154 |
| АЛЕКСАНДР КУШНЕР | |
| «Снег подлетает к ночному окну...» | 155 |
| 1974 год | 156 |
| «Нет лучшей участи, чем в Риме умереть...» | 158 |
| Буквы | 159 |
| «Конверт какой-то странный, странный...» | 160 |
| «Взамен любовной переписки...» | 161 |
| «В Якутии – снег, в Кишиневе – туман...» | 162 |
| Аполлон в снегу | 163 |
| «По роцам блаженных, по влажным зеленым холмам...» | 164 |
| ВЛАДИМИР УФЛЯНД | |
| Для голоса и гармоника | 165 |

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ

| | |
|--|-----|
| <i>Еврейское кладбище</i> | 166 |
| <i>Из цикла «Дликие песенки»</i> | 167 |
| <i>«Художник, расчетливый мальчик...»</i> | 167 |
| <i>Еврейская идиллия</i> | 168 |
| <i>«Покуда жил мой дед, так он, бывало...»</i> | 169 |
| <i>Элегия (отрывки)</i> | 170 |

ВЛАДИМИР ПОПОВ

| | |
|---------------------------------------|-----|
| <i>«Через поле напрямик...»</i> | 173 |
|---------------------------------------|-----|

БОРИС ШТЕЙН

| | |
|--|-----|
| <i>«Недавно умер замполит Леви...»</i> | 174 |
|--|-----|

ЗИНАИДА ПАЛАЙЯ

| | |
|--|-----|
| <i>«Змеятся росчерки веков...»</i> | 176 |
| <i>Поклон от маорийского дуба</i> | 177 |
| <i>Нить Ариадны</i> | 178 |

ВАЛЕРИЙ КРАСКО

| | |
|---|-----|
| <i>Ассимиляция</i> | 179 |
| <i>«Я немножко помолчу...»</i> | 180 |
| <i>Мотеле</i> | 180 |
| <i>«Порой – под утро – прикорну...»</i> | 182 |

МАРК РИХТЕРМАН

| | |
|--|-----|
| <i>«Дождем размытая дорога...»</i> | 183 |
| <i>Ветхозаветное</i> | 183 |
| <i>«Я буду писать эту книгу...»</i> | 184 |
| <i>«И что мне в тех пустынях...»</i> | 185 |

НАДЕЖДА МАЛЬЦЕВА

| | |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Старая, старая песня</i> | 187 |
| <i>Серенада для Шуберта</i> | 189 |

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

| | |
|----------------------|-----|
| <i>Кровь</i> | 191 |
| <i>Еврейка</i> | 192 |

| | |
|--|-----|
| <i>Степная кровь</i> | 193 |
| <i>Бабушка</i> | 193 |
| <i>Музейные вещи</i> | 195 |
| ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ | |
| <i>Другу</i> | 196 |
| ЕВГЕНИЙ ВЕНЗЕЛЬ | |
| <i>«Мой отец – еврей из Минска...»</i> | 199 |
| МИХАИЛ ГРОЗОВСКИЙ | |
| <i>«Гляди в прямоугольник ночи...»</i> | 200 |
| <i>В Хайфе</i> | 200 |
| <i>Прощание</i> | 201 |
| <i>Державная дума</i> | 202 |
| <i>Скоморохи</i> | 203 |
| <i>«Землю и вскормлен, и взношен...»</i> | 204 |
| <i>«Все как в древности: ночь да деревня...»</i> | 204 |
| <i>«Невозмутимые снега...»</i> | 205 |
| <i>«Вот я и подошел к черте...»</i> | 206 |
| <i>«На собранье сидели, зевали...»</i> | 207 |
| <i>«И брат зовет, и шепчет мать...»</i> | 207 |
| АРКАДИЙ ПРЕСМАН | |
| <i>У Стены Плача</i> | 209 |
| <i>«Когда-нибудь и я увижу это...»</i> | 210 |
| АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ | |
| <i>Родня</i> | 211 |
| <i>Из семейного альбома</i> | 212 |
| <i>«Сентиментальным становлюсь...»</i> | 213 |
| <i>«Там все, как прежде было...»</i> | 214 |
| <i>«Мир еврейских местечек...»</i> | 216 |
| <i>Визит</i> | 217 |
| СЕРГЕЙ БИРЮКОВ | |
| <i>В поезде близ Проскурова</i> | 218 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ | |
| «Юность самолюбива...» | 219 |
| АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ | |
| «Поэтом какого народа...» | 220 |
| Ното fugax | 221 |
| ВЕРОНИКА ДОЛИНА | |
| «Уезжают мои родственники...» | 222 |
| ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ | |
| Исход | 224 |
| ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ | |
| «И вот я здесь...» | 226 |
| Из дневника | 226 |
| «С чего начинается Родина?..» | 227 |
| «Как ни странно, но хочется жить...» | 227 |
| Здесь | 228 |
| ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ | |
| Его | 229 |
| «Я свободой бесплатно владею...» | 230 |
| В ожидании письма | 231 |
| Исход | 232 |
| ИЗРАИЛЬ | |
| РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ | |
| Прогулка | 235 |
| Цхалтубо – Москва | 236 |
| Подмосковье | 237 |
| Два белых домика | 238 |
| САППА ПОГРЕБ | |
| «Я начинаю с откоса, с обрыва...» | 239 |
| «Мы теперь самаритяне...» | 239 |
| «Пока не могу, не умею...» | 240 |

| | |
|---|-----|
| «Пробудиться, когда темнота не как сажа черна...» | 241 |
| «В июле в том году суровом...» | 242 |
| «Смертный холод...» | 243 |
| «Не знала – ну ни сном, ни духом...» | 244 |
| «Из Ариэля в Иерусалим...» | 244 |
| «Я прощаюсь со слякотью...» | 245 |
| «Распахнутость чайки возьмете с собою...» | 246 |

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

| | |
|---|-----|
| «Усталый лист с нагих ветвей...» | 247 |
| «В среднем неверном краю замыкался мой круг...» | 247 |
| «Вечерних улиц неуверенных...» | 249 |
| «Даже песен твоих я забыла начала...» | 249 |
| «Пространство смещено и время сбивчиво...» | 250 |
| «Бегут, черноволосы, чернооки...» | 251 |
| «Была мне радость только в слове...» | 251 |
| После Пасхи | 251 |
| Автобус в Негеве | 252 |
| На побылке в Москве | 253 |
| Танцы в Твери | 253 |
| «Полоумная старуха...» | 254 |

НИНА ВОРОНЕЛЬ

| | |
|--|-----|
| «Я не хочу опять вернуться в детство...» | 255 |
| Дан приказ... | 256 |
| Ах, только бы... | 257 |
| Монолог Христа | 258 |
| Время уезжать | 259 |
| Прощание с Россией | 260 |
| Сиротское | 261 |

ЕФРЕМ БАУХ

| | |
|-------|-----|
| Блок | 262 |
| Пески | 263 |
| Потоп | 266 |

АДА БРУН

- Яд Вашем. Мемориал погибшим детям* 269
«Караю ненавидящих меня до третьего колена»... 270
«...должны сказать спасибо россиянам...» 270

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

- Гарика на каждый день* 271

ИЛЬЯ ЛИРУЖ

- «На московских кухнях в Тель-Авиве...»* 276
«Ну, что там у тебя в душе!..» 277
Огни вечерние Эйлата 279

НАУМ БАСОВСКИЙ

- «Что проку подгонять: копай скорее!..»* 281
«В российском городе N – центре убогой провинции...» 281
Анфлада 282
Баллада памяти 283
Извозчик 285

АРЬЕ ВУДКА

- Ленинград* 286
«Веселья нет – спасибо за печаль...» 287
Память 287

ХАИМ ВЕНГЕР

- «А мы еще не верим в чудо...»* 288
«А сердце мое не на месте...» 289

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

- «Снилось мне, что бабы голосили...»* 290
«Ну что ж, берите, Бога ради...» 290
«Песнопевцы и пророки...» 291
«Дай мне, Господи, пить...» 291
В старом городе 293
«А где-то далеко – снега России...» 294

| | |
|---|-----|
| «Из камня тяжкого стремится...» | 295 |
| «Я помню бдения хмельные...» | 295 |
| «И вдовий стон, и горький дух гонений...» | 296 |
| «Моя тарусская Россия...» | 297 |
| «Звенит в тоске неутолимой...» | 298 |
| «И стонет скорбная Дебора...» | 298 |
| «Была я здесь когда-то...» | 299 |

ДМИТРИЙ МАЛКИН

| | |
|---|-----|
| <i>Пастернак</i> | 300 |
| «Хватит ныть о России...» | 300 |
| «Как это странно: вспомнить снег России...» | 301 |
| «Благословляю Белое Крыло...» | 301 |

ДАВИД МАРКИШ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| «...Я говорю о нас – сынах Синая...» | 303 |
|--------------------------------------|-----|

МИХАИЛ ГРОБМАН

| | |
|--|-----|
| «Противны горы Самарии...» | 304 |
| «Мы в ливанском походе в холодных снегах...» | 305 |
| «В тот год советские дивизии...» | 307 |

ИЛЬЯ РУБИН

| | |
|--|-----|
| «Приснилось мне, что я – обманут...» | 308 |
| «Я умирал у Сретенских Ворот...» | 309 |
| <i>Отъезд</i> | 309 |
| «Так странно молвится – мы живы до сих пор...» | 310 |
| «Россия... Средняя Россия...» | 312 |
| «Блажен, кто отыскал разрыв-траву...» | 313 |

ГРИГОРИЙ ВАРШАВСКИЙ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| «Усталость недугами...» | 314 |
| <i>В мастерской Козлова</i> | 314 |
| <i>Закоулки Иерусалима</i> | 315 |
| «Светясь во мгле холодно-матовой...» | 316 |
| <i>Уцелевший</i> | 317 |

ЛЕОНИД ИОФФЕ

«Все вышло правильно...» 319

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

Корни 320

«Здесьние рассветные птицы...» 320

«Господи, если б такая погода – да в Москве!..» 321

«Вот она я. Вот моя плоть...» 321

У друзей в Рамоте 322

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ

«Видите, какому бездомовью...» 323

«Меня застрелят на границе...» 324

БОРИС КАМЯНОВ

«Изнутри большая муха...» 325

«Какая это сладкая тоска...» 325

Провинциальный городок 326

Качели 327

Родина 328

«Демократичны русские пивные...» 328

Яша Коган 329

«Колотун по утрам, да такой...» 331

Русское кладбище 332

Пивной бар 333

Первое мая 334

«Ночью пили-выпивали...» 335

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ

«Империя по-русски говорит...» 336

«Нет кладбища, где погребен мой дед...» 336

«В сущности, мог бы выпасть другой язык...» 338

«Нет, мы не лезли на скрижали...» 338

«Человек вспоминает забытый язык исхода...» 339

ЮРИЙ КОЛКЕР

| | |
|---|-----|
| <i>Последняя чайка</i> | 340 |
| «Плачь, мой город, я был тебе сыном...» | 340 |
| «Был прав поэт: не брать умом...» | 341 |

СВЕТЛАНА АКСЕНОВА

| | |
|--|-----|
| «...Что тебе рассказать о звериной тоске...» | 342 |
| <i>Иерусалим</i> | 342 |
| «Я праздник Субботы узнала...» | 343 |
| <i>Поминальная</i> | 344 |
| «...И всю жизнь бесполезной...» | 345 |
| «Мне некогда глядеться в зеркала...» | 346 |
| «Вспряли лучшие умы...» | 347 |

НАУМ ВАЙМАН

| | |
|---|-----|
| <i>Из осени в осень</i> | 348 |
| «Град привычной несвободы...» | 348 |
| «Ужель другого нам не надо?» | 349 |

АЛЕКСАНДР ВЕРНИК

| | |
|---|-----|
| «По гололеду, вдаль по льду...» | 350 |
| «Теперь не память, а забвенье...» | 351 |
| <i>Памяти Ефима Ладыженского</i> | 351 |
| «Отечество в дыму...» | 353 |

ГРИГОРИЙ ЛАЗАРИС

| | |
|--|-----|
| «Должникам своим мы все простили...» | 354 |
| <i>Попытка романа</i> | 354 |
| <i>Мне снится дом...</i> | 356 |
| <i>Из России</i> | 357 |
| <i>Одиночество</i> | 358 |
| <i>Прощание с Москвой</i> | 358 |

ГРИГОРИЙ ЛЮКСЕМБУРГ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Домик в Ташкенте</i> | 360 |
| <i>Хамсин</i> | 360 |

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

| | |
|---|-----|
| «Время чеховской осени, Марк...» | 361 |
| «Ты прав – расправленный простор...» | 361 |
| «Ничего не проси у страны – ни любви, ни суда...» | 362 |
| «Лето. Солнечные плясы. Ветер на полях...» | 363 |
| «Все отнимается, все, чем душа жила...» | 363 |

РИНА ЛЕВИНЗОН

| | |
|--|-----|
| Имена | 364 |
| «Я больше расставаться не хочу...» | 364 |
| Четверостишья | 365 |
| «Портной без ниток – это я...» | 366 |
| Корни | 366 |
| Ночная нота | 367 |
| «Не сбылось, не сошлось...» | 367 |

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ

| | |
|-------------------------------|-----|
| Со своей колокольни | 368 |
|-------------------------------|-----|

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

| | |
|--|-----|
| «Под черных радуг низкие мосты...» | 370 |
| Элегия | 371 |
| «Туман относит ветер от реки...» | 372 |

ИСААК РОЗОВСКИЙ

| | |
|--|-----|
| Из цикла «Подражания и полемики» | 373 |
| Иерусалим | 374 |

АЛЕКСАНДР АЛОН

| | |
|----------------------------------|-----|
| Песня исхода | 376 |
| Иудейская историческая | 378 |
| Березовый сок | 379 |
| Прогноз | 381 |

АНДРЕЙ УСАЧЕВ

| | |
|---|-----|
| «Во святой Израиль со святой Руси...» | 382 |
| Еврейская молитва | 383 |
| Осень | 384 |

АЛЕКСАНДР БАРАШ

| | |
|--|-----|
| «Лежа в гриппе, как в сальном салопе...» | 385 |
| «В монастырском пруду отражаются – или...» | 385 |
| «В продуктовом, когда ни зайдешь...» | 386 |
| Из поэмы «Прекрасный Иосиф»... | 386 |
| Баллада о неврозе | 388 |
| «Я к себе обращаюсь как столп соляной – к человечности...» | 389 |
| «За спиной – Москва за пустыней – Каир...» | 390 |

ВИКТОР ГОЛКОВ

| | |
|--|-----|
| «В Палестине русский язык уместней, чем прочие...» | 391 |
| «Нас крестила перестройка лото...» | 391 |
| «Мертвые не имеют сраму...» | 392 |

ЗАРУБЕЖЬЕ

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

| | |
|----------------------------|-----|
| Вечный транзит | 395 |
| «Когда я вернусь...» | 397 |

ЛЕВ ДРУСКИН

| | |
|--|-----|
| «Голос предков – ветерок в моей крови...» | 399 |
| «А как вещи мои выносили...» | 400 |
| «Судите и да будете судимы!..» | 400 |
| «Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже...» | 401 |
| «К нам из Штуттгарта звонят...» | 402 |
| «Ой, Алеша...» | 402 |
| «Закрой глаза – и ты опять в России...» | 403 |
| «Дождь моросит и в Лондоне...» | 404 |
| «Мне снился отъезд мой – все тот же, точь в точь...» | 404 |

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

| | |
|--|-----|
| Поземка. Поэма | 405 |
| «Не вечно дostoевским бесам...» | 417 |
| Триптих | 417 |
| «Ты прожил жизнь...» | 419 |
| «Тот, кто был на Соловках туристом...» | 420 |

| | |
|---|-----|
| «Возжаждав неожиданно свобод...» | 420 |
| «На семи на холмах на покатых...» | 421 |
| Благодаренье | 422 |

НАУМ КОРЖАВИН

| | |
|---|-----|
| Из поэмы «Зоя» | 426 |
| «Мир еврейских местечек...» | 426 |
| Русской интеллигенции | 428 |
| На смерть Сталина | 429 |
| Подонки | 431 |
| Родине | 432 |
| «Иль впрямь я разлюбил свою страну?» | 433 |
| Все-таки жизнь... | 434 |
| «Я плоть, Господь... Но я не только плоть...» | 436 |
| В тяжелую минуту | 437 |
| «Довольно!.. Хватит!.. Стала ленью грусть...» | 437 |

НАУМ САГАЛОВСКИЙ

| | |
|------------------------------|-----|
| Добрый молодец | 439 |
| Жмеринская баллада | 440 |
| Еврейская баллада | 440 |

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

| | |
|--|-----|
| Перед синагогой в праздник Симхат-Тора | 442 |
| Цыганский табор в Озерках | 443 |
| Вилла Боргезе | 444 |

ЛЕВ ЛОСЕВ

| | |
|--|-----|
| ПВО | 446 |
| Сонет | 448 |
| Апрель 1950 | 448 |
| «Извини, что украла», – говорю я воровке...» | 449 |
| De profundis | 450 |
| «Понимаю – ярмо, голодуха...» | 451 |
| Разговор | 452 |
| На Рождество | 453 |
| «И, наконец, остановка “Кладбище”...» | 454 |

МИХАИЛ ЮПП

| | |
|---|-----|
| <i>Паралипоменон</i> | 455 |
| <i>Судьбы</i> | 456 |
| <i>«Мы бежали от строя в надежде свобод...»</i> | 457 |
| <i>«День обыкновенный, серый...»</i> | 457 |
| <i>Слово</i> | 458 |

ИОСИФ БРОДСКИЙ

| | |
|---|-----|
| <i>Стансы</i> | 460 |
| <i>Рождественский романс</i> | 461 |
| <i>«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...»</i> | 462 |
| <i>Конец прекрасной эпохи</i> | 463 |
| <i>«Я родился и вырос в балтийских болотах...»</i> | 465 |
| <i>Пятая годовщина</i> | 466 |
| <i>«Я памятник воздвиг себе иной!..»</i> | 470 |
| <i>Набросок</i> | 471 |
| <i>На смерть Жукова</i> | 471 |

БОРИС ШАПИРО

| | |
|--|-----|
| <i>«Сон сна пожирает виденье...»</i> | 473 |
| <i>Голос крови</i> | 473 |
| <i>«Который век? Вот Агасфер...»</i> | 475 |
| <i>«Ну вот, теперь пишу тебе...»</i> | 476 |

ЛЕВ АННИНСКИЙ. *Простывающий след Агасфера*

477

ВАДИМ КОЖИНОВ. *Реплика в русско-еврейском диалоге*

487

Именной указатель

500

Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека»

Свет двуединый
Евреи и Россия в современной поэзии

Редакторы *А. Гладкова, М. Линчевская, Н. Рагозина*
Художественный редактор *Л. Андреев*
Технический редактор *Н. Масалова*

Л.Р. №070374 от 13.02.92 г.

Подписано в печать 30.07.96. Формат 60х70/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Усл.-печ.л. 26,06.

Тираж 4000 экз. Заказ 620

Издательство АО «Х.Г.С.»

117071 Москва, Малый Калужский пер., 4

Набор и верстка осуществлены фирмой «Сюрпресс»
103051 Москва, Петровка, 26, стр. 2, тел. 924-69-66

Печать и переплетные работы произведены
на Можайском полиграфкомбинате

Комитета Российской Федерации по печати
143200 Можайск Московской области, ул. Мира, 93

